

Бент Виллиам  
Расмуссен

**ТИХОЕ  
БЕГСТВО**

**Bent William Rasmussen**  
**Rolig flugt**

**Бент Виллиам Расмуссен**  
**Тихое бегство**

Перевод с датского М. Николаевой

**В 72-м**

**1**

Четвертого августа 1972 года в 15.10 я сошел с поезда в Кристианстаде. Мне было пятьдесят два.

Я нес легкий чемодан, портфель и сумку через плечо. За двадцать два года путешествий с Лили я привык носить по два чемодана.

Зал ожидания, через который я проходил, по-прежнему напоминал столовую в немецком охотничьем замке.

В пятнадцатый раз приехал я в Кристианстад. Удивительно, но при пересадке в Хеслехольме я вдруг почувствовал, что мне не хватает Лили.

Я не зашел в церковь Кристиана IV [*Кристиан IV — король Дании в 1588-1648 гг. В 1615 году основал город Кристианстад на тогдашней датской территории Сконе. — Здесь и далее примечания переводчика.*]: не хотелось видеть мраморный балдахин весом в девятьсот килограммов над церковной кафедрой. Видно, пострадал не один невинный, когда эту махину волокли в церковь.

Остановился я, как и раньше, в гостинице на приветливой улочке Вестра Стургатан.

Протягивая ключи от номера, женщина-администратор предложила мне напрокат транзистор. Я поблагодарил и отказался.

Номер был на первом этаже и выходил окнами во внутренний дворик — там на клумбах нежились две кошки да стучал молотком молодой каменщик. Теперь часы показывали 15.25. Я прилег отдохнуть на четверть часа. Потом спохватился, что забыл снять ботинки, приподнялся и стащил их. Моя привычка ложиться на кровать в ботинках всегда бесила Лили.

Занавески, кровать, стол со стульями — все добротной шведской ручной работы. Скромная, самая подходящая для одинокого путешественника обстановка.

Я не спал, не закрывал глаза, ни о чем не думал, только слушал, как стучит молоток.

Спустя полчаса прямо из номера я позвонил в банк, где Арвид был директором. Меня попросили немного подождать, потом я услышал его голос:

— Стеффен, старина! Как я рад, что мы снова встретимся! Наш уговор в силе? Значит, в шесть обедаем в гостинице франкмасонов? Вот и чудно.

Я со своей стороны выразил радость, что вновь побываю в его уютной квартире на Кардельсгатан. Пауза. Внезапно я отчетливо представил себе его лицо. Оказывается, он купил дом в пригороде и живет теперь там. Я тут же записал адрес (я всегда все записываю).

Я не мог скрыть своего удивления: чтобы он, Арвид Маттсон, покинул старый город?.. Рассмеявшись, Арвид ответил, что дом будет для меня приятным сюрпризом. После обеда в гостинице франкмасонов мы возьмем такси и поедem к нему. А его «сааб» постоит до завтра на Большой площади.

— Ну, до встречи!

— До встречи!

В Сконе у меня не было более близкого и старого друга, чем Арвид. Я познакомился с ним в Лунде сразу после войны. Мы оба участвовали в движении снаппханов [*Снаппханы, или «вольные стрелки», — партизанское движение времен Сконской войны 1675-1679 гг. между Швецией и Данией, в результате которой Дания утратила область Сконе. Снаппханами также называли участников добровольного ополчения во время второй мировой войны.*] и каждый месяц навещали друг друга: то я его в Лунде, то он меня в Копенгагене.

Поглядывая на молодого каменщика с молотком, я вспоминал тот далекий день, когда Арвид взял меня с собой к некоему профессору Лундгрёну, специалисту в области административного законодательства. Профессор и студент спокойно и вежливо подбирали удобное для обоих время экзамена. Помнится, после визита к профессору мы изрядно выпили в студенческом клубе, сели вечером в поезд и поехали в Мальме к каким-то девицам, которых Арвид знал весьма приблизительно. Одна из них работала в универмаге, она очень быстро захотела спать. Это было в ноябре сорок пятого.

Сейчас эти девицы уже состарились, если вообще живы. Я снова взглянул на часы. Они показывали 16.28. Я пошел в ванную, растерся большим полотенцем, передел рубашку. Было очень жарко. Я вызвал по телефону такси, доехал до нового загородного дома Арвида и, только когда расплачивался с шофером, подумал: зачем я здесь?..

Дом был окружен высоким забором из желтого камня. Такси уехало, я открыл калитку и вошел.

Тихо. Обошлось, к счастью, без собачьего лая.

Сперва дом показался мне похожим на форт в южных штатах, выстроенный в павильонах студии «Двадцатый век-Фокс», но потом я присмотрелся к нему повнимательнее — добротная древесина, доставленная сюда откуда-нибудь из Смоланда. Дом собрали и возвели за пару дней проворные мастера строительной фирмы. Прелестный шведский вариант стандартной американской мечты of owing one's own home [иметь собственный дом].

Ко мне в недоумении приближалась дама лет семидесяти. Я улыбнулся, пытаюсь вызвать доверие, и назвал себя. Директора сейчас дома нет, сказала она смущенно, и вернется он нескоро, потому что обедает в городе, в гостинице франкмасонов со старым другом из Копенгагена. Я объяснил, что я и есть тот самый старый друг и, очевидно, приехал сюда по ошибке. Я попросил ее ни единым словом не упоминать о моей оплошности господину Маттсону, чтобы он не подумал, будто я впал в маразм. Она рассмеялась и долго не могла успокоиться, пока я не попросил ее вызвать такси. На прощание она протянула мне руку и пожелала приятного обеда с директором. В ее глазах все еще стояли слезы от смеха. Я так и не понял, кто она.

На Большой площади я долго разглядывал старинные пушки. В 1955 году мы с Арвидом ночью облили одну из них пивом. Наутро, крадучись, вернулись и вытерли пушку. Хорошенькое воспоминание, ничего не скажешь.

Арвид шел мне навстречу — такой молодой и такой старый; он был хорошо одет, и волосы у него были той длины, какую статус и мода допускали для его поколения; в одной руке он нес зонтик, в другой — портфель. Как и положено, мы по-братски обнялись.

— Арвид, старина!..

— Стеффен, приятель!..

Метрдотель указал нам столик у окна. Официант для начала принес по стаканчику сухого хереса. Арвид заказал по телефону говяжье филе и десерт. Мы чокнулись. Я забыл, как зовут его жену, и не знал, о чем говорить.

— Ты сохранил старые связи со снаппханами, Арвид?

— Еще бы! А ты?

— Разумеется, тоже, приятель.

— Что будем пить: 'La Rose Pauillac', 'Chateau Lafitte Laujac', 'Saint Emilion' или 'Passetoutgrain'? — спросил Арвид.

Я похвалил его французское произношение. Он польщенно ответил, что стал европейцем высшей марки, то есть научился говорить по-французски и по-испански. На меня, с моим никудышным английским, это произвело впечатление. Наконец мы выбрали приятное, проверенное 'Mason' — фирменное вино, как улыбаясь, сообщил нам официант.

— Знаешь, моя Нора умерла, — сказал Арвид через несколько минут после того, как нам принесли филе.

Я уставился в тарелку. Ну конечно, ее звали Нора. Подняв глаза, я кивнул. Я почти не знал Нору: она никогда не участвовала в наших вечеринках снаппханов или в воскресных поездках в какое-нибудь глухое местечко в Сcone, где в свое время квартировались снаппханы, якобы помогая датскому королю. Когда я приходил в гости на Кардельсгатан, Нора всегда рано ложилась спать, выражая тем самым протест против сочетания мужчин с алкоголем.

— Я потерял Нору четвертого июня тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года... Неужели

мы действительно с тобой так долго не виделись? Она день за днем угасала. Ее смерть была страшным потрясением для детей и для меня. Но теперь я снова женат, Стеффен. Мою жену зовут Беттина. Ей двадцать восемь, а мне, как ты знаешь, пятьдесят два.

Услышав про Беттину, я с облегчением вздохнул: нам не грозило застрять на теме болезни и смерти, которые влекут за собой мировую катастрофу.

— Все мои редкие свободные часы я провожу с Беттиной и детьми. У меня, если ты помнишь, двое детей от Норы, а сейчас мы с Беттиной ждем еще одного.

— Ну и ну!

— Что тебя удивляет?

— Так ты никогда не станешь дедом, Арвид.

Официант убрал со стола, постелил чистую скатерть и принес десерт — мороженое с фруктами.

— А ты потолстел, старик.

— Верно. Я слишком долго ел и пил сверх меры.

— А двигаешься много?

— Какое там! Раз в год по обещанию.

— А я по утрам делаю гимнастику и двадцать минут бегаю в лесу неподалеку от дома.

— Тебе хорошо: у вас тут, в Сконе, просторно.

Арвид сказал, что чувствует себя гораздо лучше, приходя утром в банк после двадцатиминутной пробежки. Работа требовала от него полной отдачи, поэтому он и выкладывался до конца каждое утро при любой погоде в гимнастическом зале или в лесу. Волокита последних лет по поводу слияния банков со сберегательными кассами требовала от заинтересованных сторон большой физической выносливости. По мнению Арвида, прошли те времена, когда в экономической и политической жизни господствовали дородные мужи с кругами у глаз от бессонных ночей.

— Ты слишком строг ко мне, Арвид.

— Ничуть. Я не тебя имел в виду. Не обижайся.

— На самом деле лишнего веса во мне нет. Это мои запасы. Или, скажем, резервы.

— Насколько я понял из твоего письма, ты собираешься оставить адвокатскую практику. Стало быть, ты накопил достаточно, чтобы бросить работу?

— Накопить-то накопил, а потом потратил. Но на жизнь мне хватает. Поговорим лучше о тебе. Ты такой стройный и ухоженный. Как это тебе удастся? Одними пробежками по лесу не обойтись. Не пристрастился ли ты потихоньку к лекарствам, Арвид?

Он смущенно засмеялся и не стал возражать. По улице прошла блондинка в синем бархатном платье.

— Беттина с детьми на даче, завтра утром и мы туда поедem, вот только разделаюсь с совещанием в банке — увы, иногда мне приходится работать и по субботам.

— Хорошо. Как скажешь. А не смотаться ли ненадолго в Сельвесборг, как прошлый раз, отдать честь старому дубу снаппханов?

— Нет, Стеффен, это мы оставим. Обойдемся без военных действий. Между прочим, Беттина утверждает, что снаппханы были настоящими бандитами.

— Она это точно знает или ей так кажется?

Арвид засмеялся и не ответил.

Я рассказал, что недавно прочел книгу Альфа Оберга [*Альф Оберг — современный шведский историк.*] «Когда область Сконе перешла к Швеции», в которой захват шведами датских территорий в семидесятые годы XVII века трактовался, по моему мнению, уж слишком в пользу датчан. Нет, не слишком, возразил Арвид. В этом вопросе он целиком на стороне датчан, что было сейчас вовсе некстати: наш разговор, как мне показалось, становился вялым, и немного разногласий оживили бы его. Но, может быть, именно разногласий Арвид Маттсон и стремился избежать?

Заметив, что ему снова хочется поговорить о Беттине и детях, я спросил, что он думает относительно Общего рынка?

Арвид насторожился, теребя в руках салфетку, и сказал, что крупные промышленники настаивают на вступлении Швеции в Общий рынок.

— Промышленники промышленниками, а ты? — спросил я.

— Мы здесь будем пить кофе?

— Давай здесь. Так как насчет Общего рынка?

— Старым добрым друзьям ни к чему рассуждать о политике. У нас столько других тем для разговора, Стеффен. Сейчас выпьем кофе и поедем ко мне. Будь уверен, дом у меня что надо! Мы с тобой приятно проведем вечерок за бутылкой виски.

Арвид махнул рукой в сторону Большой площади, погруженной в синие сумерки.

— Вон стоит мой «сааб», видишь? На нем мы завтра поедем. Если хочешь, сам сядешь за руль.

— Нет, спасибо. У меня плохо с координацией. Кстати, свою машину я продал несколько месяцев назад и не имею ни малейшего желания покупать новую. — Арвид изо всех сил старался изобразить понимание. — Я тебе еще кое-что скажу, от чего ты наверняка придешь в ужас. Вчера я уехал из своего дома в Хольте [*Хольте — пригород Копенгагена, застроенный виллами.*], не заперев за собой ни одной двери.

— Да что ты? Неужели о таком можно забыть?

— А я не забыл. И был трезвый, как стеклышко. Я сделал это нарочно.

Он пристально посмотрел на меня, словно сомневаясь, что перед ним его старый друг Стеффен Гюнтер Карлсон.

Официант налил нам кофе. Я закурил «Упман» и предложил сигару Арвиду, но он вежливо отказался. Нет, он бросил курить. Беттина тоже не курит.

— Что ты, Арвид, подумай о детях! Им, должно быть, странно иметь некурящих родителей.

— Мы стремимся подавать им хороший пример.

— Но-но, поосторожнее с этим. Когда-нибудь ваши дети вас возненавидят. Нет ничего отвратительнее примерных людей.

— Это ты, пожалуй, переборщил, старик.

— Извини.

Официант незаметно положил на стол, возле самого локтя Арвида, сложенный в несколько раз счет. Чуть поодаль стоял метрдотель. Мы похвалили вино, филе, мороженое и кофе. Арвид с карандашом в руке проверил каждую цифру. Когда он одобрительно кивнул, я выхватил у него счет и заплатил, несмотря на его протесты. Мы поднялись из-за стола, окинули взглядом ресторан, где весь вечер были единственными посетителями, и вышли в гардероб. Швейцар помог нам надеть шляпы и вызвал такси.

— До чего же усердствовал этот молодой швейцар. Он напялил мне шляпу на самые уши, бедняга.

Арвид только кивнул, он зевал, прикрывая рот рукой.

Ехали молча. Наконец такси остановилось у знакомой желтой стены.

— Ну вот мы и на месте.

— Уже?

— Да.

Мы прошли прямо в дом, даже не взглянув на него снаружи. Арвид принес виски, две бутылки содовой и два стакана. Мы огляделись. В большой гостиной было нагромождено столько всякой мебели, что сесть можно, по моим подсчетам, в четырнадцати разных местах, считая два длинных низеньких диванчика. Возле каждого окна стояло по несколько кресел одинакового цвета: бронзово-позолоченных, бежевых, рыжих и пшенично-желтых. У одного окна кресла создавали летнее настроение, у другого — царила осень. И где бы я ни расположился, отовсюду видна желтая стена за окном.

— Где же сядем?

— Действительно, где? Сложный вопрос.

Наконец мы сели на диванчики друг против друга, и Арвид щедро разлил виски.

В углу огромной гостиной начиналась лестница наверх, и там, на втором этаже, виднелся узкий коридорчик. Он ведет в спальни, объяснил Арвид.

Настоящий форт — легко оборонять, легко покинуть.

Мы чокнулись и выпили. Некоторое время я прислушивался к незнакомым звукам, потом спросил:

— А ты, Арвид, кажется, стал мечтателем, несмотря на свою деловитость? Собственно, ты и раньше был таким.

— Возможно. Особенно по ночам, когда весь дом спит.

— Понимаю. Днем вокруг слишком много суеты, чтобы спокойно размышлять о судьбах мира.

— Пожалуй, что так. — Неожиданно он улыбнулся: — У меня есть домашний свитер, белый, знаешь, что на нем написано? «За чистоту Швеции». Не пугайся — продемонстрировать не буду.

— Кстати, не перебарщиваете ли вы с чистотой в Швеции?

— В каком смысле?

— По-моему, ваша организованная и запланированная чистота превращается в стерильность. Я, конечно, имею в виду политику.

— Опять ты за свое... Полно, полно... Стеффен, сейчас мы послушаем что-нибудь хорошее. Что ты хочешь? Выбирай сам: Вресвейк, Линдфорс, Окерстрем? [Корнелис Вресвейк, Лил Линдфорс, Фред Окерстрем — популярные шведские эстрадные певцы.]

Арвид поставил пластинку и показал мне конверт. На фотографии неповторимый Корнелис с красными подтяжками. Волосы его лежат красивыми волнами, как грива дикой лошади. В ухоженной бороде спрятана приветливая улыбка. Сразу видно, что он хорошо начал день, съел на завтрак бутерброд с сыром, яйцо и выпил стакан молока. Большими руками, унаследованными от голландских предков, он крепко держит защелку подтяжки, собираясь, вероятно, пристегнуть к одному кончику шведский флажок. Он пел на слова Ларса Форселя [*Ларс Форсель — крупнейший современный шведский поэт и драматург.*]:

Просить обо всем  
приходится мне -  
свобода дается нам  
только во сне!

— Прекрасно, Арвид, лучше и быть не может.

— А мне больше нравится, как Свен Бертиль [Свен Бертиль Тоб — шведский эстрадный певец, сын знаменитого поэта, композитора и певца Эверта Тоба] поет песни своего отца. Хочешь послушать? Взгляни-ка...

Свен Бертиль Тоб был снят в костюме яхтсмена на фоне синих водных просторов Швеции. Но тут кто-то в соседней комнате кашлянул, и я спросил Арвида, кто еще гостит в доме. Он засмеялся и успокоил меня, объяснив, что в маленьком флигеле в саду живет бабушка Беттины.

— Слушай Свена Бертиля, Стеффен. У вас в Дании нет ему равных.

От песен Арвид загрустил. Он приглушил звук, налил еще виски и пустился в разговоры о старых временах и старых друзьях. Марк Паульсен, Фредерик Нюман, Стен Бруберг... Марк умер, Фред разорился, Стен тяжело болен.

— Да, полки рдеют...

— Это неизбежно. Поставь-ка теперь Лил Линдфорс.

— А помнишь Рене Саундлунда? Помнишь, он по ночам читал нам свои стихи в студенческом клубе? Умер этой зимой. Он и Ферлина читал, и Дана Андерссона, да вот... зимой умер.

— Господи, жив ли еще кто-нибудь из наших друзей? Ведь не такие уж они старые, то есть мы. Хоть несколько человек должны были остаться.

— Наверное. Ладно, не будем оплакивать умерших. Мы их знали, мы их любили, нам было хорошо вместе. И хватит об этом.

Арвид, а мы забыли еще одного... которого выгнали с вашего факультета. Как его звали?

— Действительно, как его звали? Не вспомнить...

— Кажется, Магнус Сеттерстрем или что-то в этом роде?

— Точно, Сеттерстрем. Магнус Сеттерстрем. Ты прав. Теперь вспомнил. Еще виски с содовой?

— Виски-то уж во всяком случае.

— Завтра часа в два мы поедем с тобой к Беттине и детям. Мне не терпится показать тебе и мою семью, и мою дачу.

— Я тоже рад, что все увижу. Честное слово. Скажи, Арвид, ты сторонник Пальме? [*Улоф Пальме — лидер социал-демократической партии Швеции, премьер-министр Швеции с 1969 по 1976 год.*] Вообще, какие у тебя убеждения? Это останется между нами.

— Одно правительство, другое правительство — какая разница? Неужели есть разница? Но, если тебе непременно надо знать, я голосую за умеренную партию.

Отец Арвида был потомственным крестьянином, имел большой хутор в районе Эслева, но Арвид не захотел быть крестьянином — пошел учиться и стал адвокатом. Отец презирал сына за измену семейным традициям, но материально поддерживал его во время учебы в Лундском университете, а потом помог купить практику в большой адвокатской фирме в Мальме. Арвид быстро

приобрел известность, защищал интересы крупной промышленности, в основном цементной. В Лундском университете он познакомился с Норой, дочерью доцента. Она презирала студентов из крестьянской среды, но ей хотелось иметь мужа с положением в обществе. Нора заставила Арвида хлопотать о месте директора банка в Кристианстаде. Лучше быть второй или третьей дамой в Кристианстаде, чем десятой или одиннадцатой в таком промышленном городе, как Мальме. Разведав все тайные ходы и похлопав на скачках по плечу нужных людей — пока на беговой дорожке шла борьба и их объединяла симпатия к одной и той же лошади, — Арвид сделался директором банка в провинциальной глуши на востоке Сконе.

— Но, Стеффен, как бы то ни было... мы должны опираться на рабочих. Это ясно. Благо рабочих — вот наша цель. Ты согласен?

— Если рабочие, точнее, наемные рабочие удовлетворены этим благом, тогда они лучшего не заслуживают.

— Что ты хочешь сказать?

— Понимаешь, если рабочих удовлетворяют условия, о которых они договариваются с работодателями, значит, они стали неотъемлемой частью системы, против которой боролись сто пятьдесят лет. Значит, их борьба была напрасной. Они стали красиво одеваться, но реальной власти у них нет. Ее они могут получить только революционным путем. Все очень просто.

— Стеффен, ты стал коммунистом?

— Если я и был кем-то, то скорее социалистом. А теперь скажи мне, как пройти в место уединения, выражаясь изящно?

В доме было три туалета. Я пошел на второй этаж. Унитаз тщательно замаскирован гардинами, занавесками, циновками, ковриками, полочками, стульями и даже креслом-качалкой — дочерна вытравленным морилкой, расписанным красными цветочками. Рядом стояла напольная ваза с крупными бессмертниками. Я сел. К смеху сказать, бумага оказалась шершавой, как в старые добрые времена, и напомнила мне мое здоровое детство.

— Пока ты был наверху, я позвонил Беттине.

— Позвонил? Куда?

— На дачу.

— Ах, даже так.

— Она передала тебе привет и сказала, что жаждет с тобой познакомиться. Садись и слушай. Я поставил еще одну пластинку. На этот раз Ингвара Викселла. [Ингвар Викселл — шведский оперный певец.]

Я слушал песни к Фриде из чуждой мне эпохи. Где-то поблизости кашляла бабушка Беттины.

Потом у себя в кабинете Арвид показал три любительских фильма. В первом, снятом на острове Крит, Арвид в течение пятнадцати минут пытался увековечить Беттину среди местных достопримечательностей. Она порхала в роскошных туниках по берегу, держа на левом плече сосуд. Потом она вдруг оказывалась на римском форуме — возродившаяся добродетельная матрона периода величия Рима, с суровым профилем и деловой походкой. Я чувствовал, как у меня за спиной Арвид прямо-таки разбухает от гордости. Наконец последовали кадры, снятые на даче всего месяц назад. У Беттины округлился животик.

— Родос, Крит и Рим. На этот раз мы больше не успели. Ты интересуешься античностью и всякой стариной?

— Не особенно.

Мы снова сидели на диванчиках и пили виски.

— Да, время идет, — сказал Арвид, — но хорошо: теперь кинокамера стала другом человека и появилась возможность удерживать события прошлого.

— Ты, наверное, захочешь снять на фото или в кино появление на свет своего нового ребенка? Арвид засмеялся.

— Ну уж нет. Пусть этим займутся люди посвободнее меня.

Я попросил его вызвать такси. На прощание Арвид сунул мне под мышку папку.

— Это может тебя заинтересовать, Стеффен. По крайней мере будет что почитать перед сном. А уикенд мы проведем отлично, правда? Половим рыбу в озере. Мой сын Ларс с удовольствием пойдет с нами на рыбалку.

Шофер такси поздоровался сначала с Арвидом, а потом со мной.

— Ну, старик, счастливо.

— Счастливо. До встречи.

По дороге шофер сказал, что Кристианстад может по праву гордиться таким человеком, как Арвид Маттсон.

Я отпустил такси на Большой площади и постоял, опираясь на пушку и отгоняя мысль о выпивке. В номере я открыл бутылку «Унтерберга» (я привез с собой большой запас этой настойки) и сделал несколько записей о сегодняшнем дне, надеясь потом их обработать. Его звали Магнус Сеттерстрем, это точно.

Магнуса Сеттерстрема вышвырнули с юридического факультета за какую-то провинность. Ночью я попытался восстановить в памяти все, что было связано с ним. Я вспомнил две подробности: во-первых, отец Магнуса работал на цементном заводе в Лимхамне, во-вторых, многие студенты совершали те же поступки, что и Магнус, но отделялись выговором. Это произошло в 1946 году. Премьер-министром был Эрландер. Или все еще Пер Альбин? *[Пер Альбин Ханссон — премьер-министр Швеции с 1945 по октябрь 1946 года, Tage Эрландер — с ноября 1946 по 1969 год.]* Я видел Магнуса перед его отъездом из университета. Он шел на вокзал с чемоданом, полным книг. И Арвид, и другие студенты на мои расспросы отвечали уклончиво.

В папке Арвида лежали счета и годовые отчеты банка, в котором он был директором. В маленьких, беспомощных цифрах не было той магической власти, какой наделяют их в наше время сильные мира сего. Сейчас эти закорючки просто-напросто предвещали всеобщее крушение.

Я проснулся от звуков молотка во внутреннем дворике и обнаружил, что спал в ботинках и с сигарой в руке.

За завтраком в гостиничном ресторане я разговорился с археологом из Турции, который после получасовой беседы пригласил меня к себе в гости в Анкару. Оставил адрес и номер телефона. Стоило мне улыбнуться и проявить интерес к собеседнику, как у меня всюду появлялись друзья по гроб жизни.

Женщина-администратор снова предложила мне транзистор.

— В мире столько всяких событий, — сказала она.

Я вежливо отказался.

На приветливой улочке Вестра Стургатан я почувствовал головокружение и достал из кармана «Унтерберг». Зайдя в подъезд, я выпил прямо из горлышка.

В музее я уже не в первый раз полюбовался на роскошные длинноствольные пушки, которые доблестные шведы захватили под Лейпцигом у наполеоновской армии в 1813 году. Каждая пушка была редкостной красотой, что называется, произведение искусства, и в свое время отлично вписывалась в ландшафт.

Мне не с кем было поделиться своим юмором.

В музее экспонировалась передвижная выставка о борьбе с алкоголизмом в Швеции. На стенах висели плакаты двадцатых годов — тогда проводился референдум по проекту «сухого закона». Страну раздирали противоречия. Брат поднялся на брата. Округ шел на округ. «Шведские рабочие! Капиталисты отравляют ваши тела алкоголем! Голосуйте за введение «сухого закона»!» Снимки сморщенной печени и чахлах почек показывали, как выглядит шведский народ изнутри. Бедняки пили и становились еще беднее, богачи пили и становились еще богаче. Выставка хитро обходила тот факт, что между классовой борьбой и пьянством существует связь. Меня затошнило, и я выпил последнюю бутылку «Унтерберга», взятую на прогулку по городу Кристианстаду. Кого же спасти? Спившихся богачей? Зачем?

На Тиволигатан из открытого окна старого дома глядел на улицу человек. Я прошел мимо.

Знакомое лицо... Я видел его раньше, когда-то давным-давно, но когда? Нет, наверное, ошибка, подумал я и пошел дальше. Перейдя улицу, стал разглядывать витрины. Вернулся обратно и снова прошел мимо. Замедлил шаги у окна, где сидел человек с морщинистым лицом. Взгляд его был неподвижен. И вдруг — словно озарение: это Магнус Сеттерстрем. Я спросил как можно громче:

— Это ты, Магнус?

Бросив на меня обеспокоенный взгляд, он кивнул.

Я вошел в дом, поднялся по лестнице на второй этаж. Поспешно, пока не передумал, нажал на кнопку звонка. Дверь открыла маленькая седая женщина; несмотря на ее протестующий жест, я вошел в прихожую. Сказал, что хочу навестить ее мужа, с которым мы когда-то были дружны.

Она ответила, что это ее брат. Он остался инвалидом в результате несчастного случая на фабрике, где работал после банкротства своей фирмы газового и водопроводного оборудования. Банк



приостановил кредиты, подсчитав, что оборот фирмы растет слишком быстро для такого маленького предприятия. И фирма брата осталась без средств.

— Ваша фамилия тоже Сеттерстрем?

Она сказала, что ее фамилия Окерлунд. И брата зовут Магнус Окерлунд, и лучше его не тревожить. Я извинился и ушел.

Не торопясь, пообедал в ресторане при театре, глядя из окна на реку Хельгео.

Однажды — когда это было? — я прогуливался по набережной Хельгео с некой фру Сесилией Хоконссон, которую встретил на вечеринке у Арвида. Высокая, шикарная дама, похожа на киноактрису Карин Экелунд. Ветер сорвал у нее с головы широкополую летнюю шляпу и швырнул в реку. Мне удалось выловить шляпу. Дама до того растрогалась, что неожиданно поцеловала меня в щеку. После этого я не знал, о чем с ней говорить. Проводил ее домой и чинно попрощался у подъезда. Будь между нами что-то большее, я бы забыл ее на следующий день.

Я вышел из здания театра, которое показалось мне — в этот последний раз — огромным, тяжеловесным кубком, прикрепленным к земле флагштоками и ухоженными клумбами.

Перед высоким зданием строгих форм с массивными неприветливыми дверьми остановилась машина. Из нее вышли трое важных господ, один из которых, крестьянин Арвид Маттсон, носил дома свитер с надписью «За чистоту Швеции». Он был моим старинным другом. Если бы я познакомил его со своими недалёковидными товарищами из комитета по борьбе против вступления Дании в Общий рынок, они обошлись бы с ним грубо и пошли бы долдонить про монополистический капитализм, пытаясь при этом выведать его тактику, ибо главным в жизни для них была тактика.

Часы показывали без пяти час. Я с облегчением вздохнул: входя в свой банк-дворец, Арвид не заметил меня. Привет, старина. Я поспешил в гостиницу, вежливо отказался от транзистора, сложил вещи, заплатил за номер и вскочил в поезд на Мальме, радуясь и печальясь, потому что ни один город не приходился мне так по душе, как Кристианстад. Я был здесь раз пятнадцать, а может, двенадцать. Думаю, в этом городе я бы состарился, сам не заметив как. Поэтому пора ехать дальше.

## 2

Воскресенье шестого августа 1972 года в Мальме запомнится мне как день, когда я больше обычного и в последний раз жил прошлым.

Я попросил официанта-итальянца принести мне коньяк, кофе и подать счет.

Прошное охотнее подступает, если отведать фирменного напитка, а в данном ресторане таковым был коньяк.

Я сидел в «Савое», разглядывая многочисленных состоятельных господ из мелких буржуа, которые с сытым и довольным видом глазели друг на друга.

Наверняка они не видели дедушку Карлсона.

Я давно ждал его, и теперь он стоял там, за окном, и смотрел на дерево у канала. Юношу отправили из дома в темном воскресном костюме. Фуражку ему разрешили купить самому — все-таки носить ее ему, и долго: старую добрую Швецию он покидал не на один год. Я увидел, как он вынул нож и острием что-то вырезал на коре, но, насколько мне известно, своей матери, Стине, он написал, что не посмел нанести вред красивому дереву (письмо от двенадцатого августа 1877 года)...

Один посетитель «Савоя» вытянул шею: мимо окна прошел известный телекомментатор. Дедушка Карлсон минутку постоял в нерешительности.

Я находился в Мальме — несостоявшейся столице провинции Эрестад, — городе, который в 1658 году готов был окончательно разделиться с шведским королем, но капитулировал, поскольку обещанная помощь из Копенгагена так и не появилась. Подоспей она вовремя, Мальме сегодня, очевидно, был бы захудалым городком Общего рынка. За две недели до смерти мой отец, Стеен Карлсон, пел при мне старые куплеты о встрече трех королей в 1914 году:

Добрые друзья,  
встретимся в Мальме,  
ему почти тысяча лет...

Официант принес сложенный в несколько раз счет, я расплатился. Дедушка Карлсон направился к пароходу на Копенгаген.

Я вышел на улицу и остановился перед «Савоем».

Поискал дерево, нашел его и с удивлением обнаружил буквы: К. А. К. Значит, старик написал

домой не всю правду? Неужели К. А. К. действительно означает Карл Аксель Карлсон? Незнание взволновало меня — наверное, я выпил слишком мало коньяку. Да, конечно, это дедушка Карл Аксель оставил мне, конечной точке нисходящей линии, короткую весточку о неизбежности разлуки, и это меня растрогало, ибо родственные чувства были для старика единственной защитой от тех, кто оттирал его в сторону.

Я несколько раз обошел дерево. Неподалеку гудел пароход. Парень лет восемнадцати болтался по палубе и глазел на чаек, летающих между Копенгагеном и Мальме.

Мало-помалу дедушка Карлсон стал подмастерьем, потом мастером, и говорят, однажды шил фрак самому Монаду. [Монад, Дитлев Горхард (1811-1887) — крупный датский политический деятель, епископ.] В детстве я часто сидел у него на коленях, но у меня в памяти остались только его усы. Если придерживаться правды, ничего другого я припомнить не мог, да и память наша не любит придерживаться правды.

Прабабушка, Стина Карлсон, проводила сына только до станции родного Осторпа. К рождеству, которое Карл Аксель впервые провел не дома, она писала ему в Копенгаген, что после его отъезда проплакала много дней. И добавляла: «К счастью, Тот, кто вершит наши судьбы, всегда помогает нам забыть наше горе».

В народном парке под пестрыми облаками из воздушных шариков сидели, стояли и лежали сонмы поколений. На эстраде возвышалась Лил-Бабс [Лил-Бабс — популярная шведская эстрадная певица.], держа микрофон у самых губ, — ей достаточно было шепнуть, чтобы услышала вся Сконе. Не успела она закончить номер, как заработали сотни транзисторов. Где-то в Европе одиннадцать мужчин защищали на футбольном поле честь Швеции. Стоило Лил-Бабс снова зашептать о дожде и любви, как наступала тишина. До чего же легко жить тем, кто умеет быстро переключаться.

Я вошел в церковь св. Петра и долго смотрел на главный алтарь. Прабабушка Стина рассказывала, что она осмелилась зайти в эту церковь лишь дважды. В первый раз — со своими родителями, во второй — и последний — на прощальную службу перед отъездом из Швеции, ибо прадедушка, Биргер Карлсон, скончался раньше, чем можно было ожидать, и его вдова, считая себя еще достаточно молодой, вышла замуж вторично. Ее новый муж вместе с ней и еще двумя семьями из родных осторпских краев эмигрировал в Америку. Перед отплытием из Мальме Стина с псалтырью в руке отправилась в церковь св. Петра и, склонившись пред пастором, не поднимая глаз, попросила благословить ее на дальнейшее плавание и жизнь на чужбине. Через три года она умерла в Огайо, не успев измениться душой. Не успела она и подарить Америке ни сыновей, ни дочерей, о чем я всегда думаю с удовольствием.

Но нет в семейных анналах воспоминаний о том, как прабабушка Карлсон, в новом замужестве Аксельссон, выходит из церкви с гордо поднятой головой и затаенным страхом; нет и легенды о ее крестном пути от церкви св. Петра до порта, а потому я поспешил выйти на свежий воздух и поискать место, где я мог бы вернуться в настоящее с помощью датского пива.

У портье в моей гостинице на Седра Ферстадсгатам нашлась бутылка пива «Туборг», а у меня было две сигары «Флора Даника», и мы поменялись, воображая, будто занимаемся меновой торговлей в палатке бедуинов. В номере я надел чистую рубашку и галстук, решив, что тетя Хильда хотела бы видеть меня одетым так, как, по ее мнению, должны одеваться преуспевающие датские адвокаты независимо от времени года.

Тетя Хильда с мужем больше не жила на Нобельвеген. На двери висела табличка с датской фамилией — Петерсен. Я позвонил к Петерсенам и к соседям, но никого не было дома.

Этажом ниже я услышал гул футбольного матча и нажал звонок. Дверь приоткрылась на крохотную щелочку, и на меня посмотрели маленькие злые глазки. Мне отрицательно покачали головой, но на первом этаже, к счастью, выжила одна старушка, которая после долгих объяснений поняла, чего я добиваюсь, и дала мне адрес пекаря Берглунда и его жены Хильды Берглунд — три года назад они переехали в новый дом в Росенгордене. Я долго благодарил ее и узнал, что ей в жизни не хватает лишь трех кусочков сахара, и это было, пожалуй, единственное, в чем я не мог помочь. Ей не хотелось беспокоить соседей. Она сказала, что они дурные люди.

Я поехал на такси в новый район Росенгорден — новехонький, чистый, неуютный городок без тени прошлого.

Шофер слушал радио с напряжением.

— Мы выигрываем, — сказал он, — иначе и быть не может.

Он даже не взглянул на деньги, которые я сунул ему в руку. Голос диктора звучал спокойно.

— Боже, как ты растолстел, Стеффен, — смеялась тетя Хильда, крепко обнимая меня, — ну и

растолстел.

— Меня слишком много кормили пирожными в детстве. А ты, наоборот, стала как соломинка, старушка Хильда.

— Надо ведь в гробу поместиться.

Пекарь Берглунд устроился перед телевизором, он кивнул мне и жестом предложил сесть.

— Странно, что вы переехали. Я всегда думал, что такие люди, как вы, никуда не переезжают.

— Я просила Берглунда написать тебе об этом, но он, наверное, забыл. Иди-ка взгляни на нашу столовую.

Огромный снежный ком — футбольный мяч — пересек телеэкран и победно влетел в темные ворота. Выигрывающие футболисты запрыгали, как куклы, целуя друг друга. Проигравшие этот важнейший футбольный матч мира плакали, закрыв лица руками. Берглунд смеялся, показывая зубы, у который всегда был подозрительно новый вид.

В нарядной столовой тетя Хильда накрыла стол для кофе. Были поданы торты, булочки, медовые пряники, печенье, бисквиты и ванильные рожки. Берглунд сам все испек, сообщила мне Хильда, кроме ванильных рожков, их она купила в универсаме.

С балкона открывался вид на ипподром. Неожиданно у меня за спиной появился Берглунд.

— Лошади не про нас. Футбол лучше. Это для таких, как мы.

Тетя Хильда взяла меня за руку и повела к столу.

— Садись, мой мальчик. И ешь, что хочешь.

Кофе она разливала из старинного фарфорового кофейника, опутанного паутиной трещинок. И кофейник, и чашки были из дома ее матери в Энгельхольме, а та получила их в подарок на свадьбу от своей матери в году эдак 1890-м.

— Вас это, адвокат, очевидно, не интересует, — сказал Берглунд.

— У нас нет таких хороших сливок, как в Дании.

— Надеюсь, адвокат любит сладости.

— Насколько я помню, в детстве Стеффен обожал сладкое. Одна из твоих теток... Берглунд, Стеффена воспитывали две тетки, я тебе, конечно, рассказывала...

— Да, рассказывала, — подтвердил Берглунд.

— Одна из теток позволяла тебе есть сладкого сколько душе угодно, а другая, наоборот, запрещала.

— Ну и воспитание, — проворчал Берглунд. — Отведайте-ка торта.

— У меня было прекрасное детство. Тетки уравнивали друг друга.

— Мне очень нравилось проводить у вас каникулы. Твой отец был мастак на выдумки. А тетки такие милые.

— Меня губят универсамы. С каждым днем я теряю покупателей. Правительству следовало бы выплачивать мне компенсацию. Но Пальме наплевать на мелких предпринимателей.

Так мы просидели за кофе полтора часа. Под конец меня охватила паника: я не привык подолгу сидеть за столом. Но вот мы перешли в гостиную, уселись на диван, я закурил сигару, и ко мне вернулось спокойствие.

— Ты все еще куришь, Стеффен? — обеспокоенно спросила тетя Хильда.

— Пусть даже мне грозит стать самым больным человеком в Скандинавии, тетя, я все равно при всяком удобном случае закуриваю сигару.

— Но от курения бывает рак горла и легких, мой мальчик.

— Если ко мне в контору приходит клиент и уверенными движениями начинает набивать табаком трубку, я сразу понимаю, что имею дело с уравновешенным человеком, так-то вот, тетя Хильда. Противники табака всегда вызывают у меня подозрение. Они впадают в истерику по пустякам. И кроме того, я не выношу их лицемерия.

— Ты хорошо умеешь постоять за себя, Стеффен, — сказала Хильда.

— Как все адвокаты, — вставил Берглунд.

— Не обижайся на Берглунда, Стеффен. У него просто такая манера.

Несмотря на переезд, у Хильды сохранилась старая мебель. Одну стену занимал секретер. Когда-то он стоял в доме прабабушки Стины, она родилась в 1835 году. Секретеру по меньшей мере лет сто пятьдесят. Берглунд показал мне трещину на этой семейной реликвии:

— Она появилась в последние годы. Мы с Хильдой часто об этом говорим.

Не топленные зимой комнаты девятнадцатого века сделали смоландское дерево еще более

прочным, но от центрального отопления семидесятых годов двадцатого века оно становится хрупким и тленным, как человек.

На противоположной стене в два ряда висели картины Карла Ларсона. [*Ларсон, Карл (1853-1919) — шведский художник, автор картин идиллического содержания. Родом из области Даларна.*] Большие белые комнаты с красивыми изразцовыми печами, люди, смотрящие друг на друга нежно и внимательно, здоровые детишки в колыбельках. За окнами пушистый снег, кормушки и птицы. Каждый дом, построенный из отборной шведской древесины, — очаг вечной любви. Откуда слащавость в этих картинах: то ли мы их неправильно вешаем, то ли неправильно воспринимаем? Может быть, художник слишком бурно провел молодость и в картинах выражал покаяние?

— Хотя этот снег и детишки из Даларна, в них чувствуется что-то родное, — сказала Хильда.

— Сегодня они стоят больших денег, — добавил Берглунд.

Когда он вышел в кухню за пивом, Карл Ларсон мне сразу больше понравился. На одной картине двое ребятишек сбрасывали с себя одежду — вот это были живые люди. На другой — зеленый огород пестрел хаосом грядок. Берглунд вернулся с двумя бутылками пива.

Диван, на котором мы сидели, служил людям начиная с 1880 года. Хильда точно знала, что его перебивали всего шесть раз. Последний — желтым вельветом в 1969 году, когда они перебрались на новую квартиру.

— Здесь живет чертова пропасть иностранцев. Грязные скандальные типы, — сказал Берглунд.

— Знакомая песенка, совсем как у нас, в Дании.

— Я не шучу, адвокат.

— Уголовная статистика не показывает каких-либо отклонений в случае иностранцев.

— Чихал я на статистику. Ею только затыкают глотку маленьким людям.

— Знаете, Берглунд, некоторых датских политических деятелей хлебом не корми, только дай постоять за права маленьких людей. Жалкие твари. Собиратели голосов. Неужели вы не понимаете, Берглунд, что в скандинавском обществе нет больше «маленьких людей»? Неужели это до вас еще не дошло?

— Не понимаю, куда вы клоните.

— Есть люди, которых эксплуатируют, но это совсем другое дело, и я вам охотно объясню...

— Посмотри-ка лучше сюда, Стеффен.

Тетя Хильда показала мне свою коллекцию фотографий представителей рода Карлсонов. Наиболее достойные внимания жили до того, как к фотограммам с черной тряпкой на голове и странными жестами стали повсеместно относиться с доверием. На единственном снимке Андерса Карлсона был изображен страшно напуганный человек. Глаза его широко открыты, видно, он боялся яркого света и непонятных звуков. Зато дядя Биргер явно наслаждался позированием перед камерой: стоял, скрестив руки на груди. На фоне школы домоводства в Энгельхольме улыбалась нам из 1920 года юная Хильда. А вот и другие Карлсоны: грустные глаза, нервные улыбки, лица, полускрытые шляпами, размером с морскую черепаху, руки, застывшие на надгробиях родных, ноги на мшистых скалах — и неожиданно почти вызывающее цветное фото молодой девушки в узких брюках и белой блузке, в обнимку с собакой.

— Тетя Хильда, а это еще кто, черт возьми?

Она поспешно убрала фотографию.

— Бритт. Ты ее не знаешь.

— Бритт? Кто она такая?

— Дочка Биргитты Карлсон, которая вышла замуж за монтера здесь, в Мальме. Съешь-ка апельсин, мой мальчик. Или винограду?

— Пока я окончательно не запутался: а Биргитта чья дочь? Мне нужно знать.

— Биргитта была дочерью Торстена Карлсона, моего двоюродного брата с отцовской стороны. Отец Торстена, то есть мой дядя, был портным, как и твой дедушка, Стеффен, только он остался в Швеции.

— Настоящие люди не покидали родину, — вставил Берглунд.

— А вот посмотри. — Хильда сунула мне фотографию, и я сразу узнал отца, тетю Хильду и себя. Мой отец в модном костюме начала тридцатых годов, эдакий манекен из шикарного магазина с тростью и в гамашах, легко поддерживает под локоть кузину Хильду в очень длинном уличном костюме, в туфлях на высоком каблуке, а справа, немного в стороне, Стеффен Гюнтер Карлсон, лет

одиннадцати, чуть согнувшийся под тяжестью школьного ранца, в плоской фуражке с названием и гербом школы — учащиеся были обязаны носить их в общественных местах.

— Хильда, это же Тиволи. Позади виден фонтан.

— Да, и как давно это было! Ах, до чего ж веселый и обаятельный был твой отец!..

— Кому-то хорошо было в те времена, — заметил Берглунд.

— Вечером мы пошли на представление в летнем театре. Слушали шотландские волынки, Смотрели пантомиму. Незабываемое удовольствие. Твоей матери с нами не было. Кажется, она гостила тогда в Ютландии.

— Очень может быть.

— Весь Копенгаген распевал песни из фильма «Конгресс танцует», помнишь тот фильм с Лилиан Харви и Вилле Фришем? Чудесные песни.

— Das gibt's nur einmal, es kommt nicht wieder. *[Такое бывает лишь раз и никогда не вернется.]* Так?

— Да-да, именно.

Возбужденная Хильда закружилась в вальсе по ковру. Берглунд с удивлением наблюдал за ней. Вдруг она смутилась, поправила ногой ковер и тихонько села.

Две бутылки пива, принесенные Берглундом, так и стояли неоткупоренные. Берглунд поднялся и включил телевизор.

Когда Хильда прощалась со мной в прихожей, у нее в глазах стояли слезы.

— До скорой встречи, — сказал я.

Она бросила на меня странный взгляд. Как многие старые люди, она прекрасно понимала, что ее навещают в последний раз. Она уже примирилась со всем, что ей предстояло пережить, — надо принять свою судьбу достойно.

Я провалялся в постели минут пятнадцать (опять в ботинках), когда позвонил портье и попросил меня спуститься вниз: со мной хочет поговорить какой-то господин.

Яльмар Берглунд не терял времени даром: коричневый свитер и холщовые штаны сменил на темно-синий костюм с буффоньеркой. Мы уселись в ресторане и заказали виски.

— Плохо идут дела, Берглунд?

— Эти проклятые универсамы... Где их только нет. Мне уже под семьдесят, и я хочу продать магазин, но желательнее с прибылью, чтобы, как говорится, на бобах не остаться.

— Наверное, и старые долги есть?

Он кивнул и назвал цифру.

— Дама сердца? — предположил я. — Подружка, которая чересчур дорого обходилась?

— Это было очень давно, адвокат, я уже сказал: мне скоро семьдесят.

— Ты получишь деньги. Вот вернусь в Копенгаген и дам распоряжение в банк перевести вам мои сбережения. На имя Хильды. Будем считать, что в долг, ладно? Долг без процентов. Долг, которого никогда не потребуют назад. Мне эти деньги ни к чему.

— Нет-нет, так не годится. И Хильда никогда на это не пойдет.

— Тогда отдайте деньги Пальме или Херманссону *[Карл Хенрик Херманссон — лидер шведской коммунистической партии, с 1967 года — Левой партии-коммунисты.]* при следующей избирательной кампании. Мне-то они во всяком случае не нужны. И не думайте, что я совершаю благодеяние, я просто избавляюсь от лишнего, в точности как все благодетели, если ты понимаешь, что я имею в виду. Кроме того, мне хочется, чтобы род Карлсонов ушел из истории без мрачных мыслей о мире и человечестве, а для этого деньги весьма кстати.

Он недоверчиво посмотрел на меня. Глаза его выражали беспокойство, как будто он почуял против себя заговор. Все удачливые люди на свете увидели его, Яльмара Берглунда, и решили выставить на посмешище. Когда он упомянул о своих обанкротившихся отце и дядюшках, я прервал его:

— Но деньги получишь с одним условием. Дай мне адрес Бритт.

Он покачал головой: если он это сделает, Хильда с ним по меньшей мере месяц не будет разговаривать. Это она умеет. Становится неприступная и молчит. А Бритт — дурная девушка. Работала натурщицей и все такое. В общем, паршивая овца. В конце концов адрес я получил. На прощание Берглунд отвесил мне глубокий поклон, и в глазах его мелькнула едва ли не ненависть.

Жители Мальме возвращались домой после воскресенья, проведенного в Риберсборге и Сиббарпе. Владельцы больших автомобилей, приобретенных в расчете на больших собак, приезжали из Фальстербу и Истада. Вылезая из машин, они невидящими глазами смотрели на свои дома. Голоса

их были громкие и сердитые. Я смешался с бурлящей толпой, в которой от жары у всех кружилась голова.

Группы рабочих-иммигрантов, гулявших в парках под надзором молодых полицейских с портативными радиотелефонами, не расходились, пока на самых больших и оживленных улицах не воцарилось спокойствие. По старому кладбищу у площади Густава Адольфа бродили старушки, вцепившись в свои сумочки.

К Бритт я поехал на такси. Шофер признался мне, что бросил курить: нельзя требовать чистоты от руководителей государства, если не предъявлять того же требования к себе.

— Гитлер тоже был противником табака, — сказал я.

— Будьте любезны выйти, — сказал шофер, останавливая машину.

Я дал ему чаевые в двойном размере. Они принял их не моргнув глазом. Потом невозмутимо сказал:

— Все датчане свиньи.

Остаток пути я шел пешком.

Девушка, открывшая дверь, была похожа на Хильду в Тиволи в 1932 году. Это застало меня врасплох. Я смутился и, забыв представиться, занес ногу через порог.

— Кто вы? В чем дело?

— Простите. Я всего лишь один из Карлсонов. Меня зовут Стеффен Карлсон. Ваш прадед и мой дед были братьями.

— Ну и что?

— Можно зайти на минутку?

— У меня гости.

— Я только хотел с вами познакомиться. Мне о вас рассказывала тетя Хильда.

— Она чудовище. Я была у нее один раз, и того оказалось много.

— Не хотите ли выпить со мной где-нибудь?

— Я же сказала: у меня гости. Моя подруга Улла. Мы с ней собираемся открыть магазин керамики. Сами понимаете, нам некогда.

Я пробыл с девушками около часа. Они запустили бит-музыку на такую громкость, что беседа была излишней. Вскоре Улла поманила меня в коридор и предложила свои услуги. Я спросил, одобрит ли это Бритт. В этом Улла сомневалась; по ее словам, Бритт была строгих нравов. Мы вернулись к Бритт и бит-музыке.

Бритт убавила звук.

— Мы с Уллой имеем по десять тысяч начального капитала. Улла большей частью торговала своим телом, а я писала статьи и перевела несколько детских книг. Но какая разница, откуда деньги, — деньги не пахнут.

Я понаблюдal за девушками еще четверть часа. Потом встал и распрощался. Бритт кивнула.

— Я не провожаю тебя, ладно? И приходить еще раз тебе ни к чему, все равно нам не о чем разговаривать. Во всяком случае, о семействе Карлсонов я слышать не желаю, это просто сборище жадных крестьян.

— И несколько портных.

— Ну, эти-то уехали в Данию.

Позже, вечером, я устроился в ресторане на Большой площади и спокойно выпил виски, загоротившись бутылкой, которую официант оставил на столе. Мальме затихал. Больше навещать было некого.

Люди в ресторане не горячились, не повышали голос, а чинно и мирно беседовали. Кажется, жара минувшего дня их не коснулась. Я выпил полбутылки и пошел в гостиницу. Слова официанта, сказанные напоследок, меня удивили.

— Приходите к нам еще. Мы любим, когда к нам приходят чужие.

Не знаю, кого он имел в виду под «чужими». Наверное, он и сам не знал.

### 3

— Лили, я нам кое-что приготовил. Поужинаем в кухне. Я всегда здесь ем.

— Отлично. Что же ты приготовил?

— Единственное, что я умею, — яичницу. Замечательную яичницу, Лили, с луком-пореем.

Садись, сейчас я положу нам по хорошему куску. Не запачкай платье.

— Это костюм, белый.

— Совершенно справедливо. Не запачкай костюм. Что ты будешь пить? У меня есть почти все, что тебе может прийти в голову.

— Только апельсиновый сок. Я покончила с крепкими напитками.

— Прекрасно. Вот тебе сок. И не забывай про еду.

— Ты не пожалеешь, что отдал дом, Стеффен?

— Он слишком велик для меня. С тех пор, как ты уехала, Лили, я большей частью жил на кухне.

— Если бы мы с тобой начали заново, нам ведь хватило бы небольшой трехкомнатной квартирки?

— Разумеется.

— Но ты не хотел бы начать заново?

— Конечно, нет. Мы давным-давно стали взрослыми, самостоятельными людьми. Зачем опять усаживать друг друга в манежик?

— Ты готовишь очень вкусную яичницу. Кто тебя научил?

— Нина. Она заходила как-то вечером. Твоя подруга, Нина.

— У тебя с ней было что-нибудь серьезное?

— Лили, если даже с тобой не было ничего серьезного, то с кем было? Для меня — ни с кем.

— Подумать только, мы были женаты двадцать три года.

— С необходимыми перерывами. Хочешь еще яичницы?

— Нет, спасибо. Стеффен, я тоже долго не проживу в этом доме.

— Тогда продай его. Пусть тебе поможет Свен или еще какой-нибудь деловой мужик. Дом твой. Поступай с ним как знаешь.

— Мы что, больше совсем не увидимся?

— Нет, по-моему, не имеет смысла. У тебя ведь завелся дружок.

— Это к делу не относится. А ложка зачем?

— Для мороженого. Я купил чудесное ассорти у нашего булочника. Ему очень жаль, что я покидаю квартал. Вот мороженое. Ешь на здоровье.

— Спасибо. Кстати, я была здесь как-то в твое отсутствие. Должна признать: у тебя тут чистота.

— Я ведь почти не пользуюсь комнатами. Знаешь, в тот день, когда я вернулся из Мальме и оказался в нашей огромной гостиной, я вдруг почувствовал, что мне ужасно тебя не хватает.

— Как мило. Неужели правда?

— На несколько минут. Потом я отвлекся. Тебе больше хотелось бы клубничного мороженого?

— Нет-нет. Стеффен, ни к чему тебе уезжать завтра только потому, что я свалилась тебе на голову. Оставайся сколько хочешь.

— Спасибо, но я уеду сегодня вечером или завтра утром. Фру Бертельсен меня ждет. Я обещал ей приехать первого ноября, то есть сегодня.

— Как, ты собираешься жить у этой невыносимой фру Бертельсен?

— Не беспокойся, она очаровательная старушка. В тот раз, когда мы с тобой поссорились на три месяца, я жил у нее, и все было чудесно. Я только с трудом терпел ее постоянные нападки на тебя. Она считает, что ты со мной плохо обращалась. Есть еще мороженое.

— Больше не хочу. Я сыта.

— Прекрасно, тогда я вымою посуду и будем пить кофе. А ты сиди и наслаждайся жизнью.

— Франс говорит, что ты стал коммунистом.

— Люди всегда считают коммунистом того, кто в их глазах ведет себя необычно. Страх перед коммунизмом уничтожил способность к здравым суждениям даже у самых умных людей. А Франс и вовсе ничего не смыслит в политике. Как и все ему подобные.

— Ну а сам-то ты какую позицию занимаешь? Не совсем определенную, да?

— С политической точки зрения я волк в овечьей шкуре. Теперь шкура наконец сброшена, но волк состарился и никому не страшен. Вот кофе.

— Спасибо. Сливки не надо.

— Тоже правильно.

— Ты написал отличную статью против вступления Дании в Общий рынок.

— Знаю. Из-за нее я потерял лучших клиентов и поссорился с компаньонами. Трудное было время. Капитал и его многочисленные политики совратили народ. Я сам двадцать пять лет служил власти капитала. Больше не желаю.

— Стало быть, Франс прав.

— Нет не прав, черт побери. Нечего стричь всех под одну гребенку.

— Конечно.

— Что еще ты хотела мне рассказать?

— У меня есть друг. Его зовут Боссе.

— Боссе? Ну что ж, Боссе так Боссе.

— Он придет к нам в гости часов в девять. Я рассказывала ему о тебе и о твоём недавнем длинном письме, где ты писал, что собираешься выйти из игры.

— Ну нет, такого банального выражения я не употреблял. Я писал, что собираюсь к весне уйти со службы, продать свою долю в адвокатской фирме и так далее. По-моему, я написал вполне ясно. Неужели ты не помнишь, черт возьми?

— Успокойся. Не надо сразу лезть на стенку, как бывало. Так вот, я говорила о тебе Боссе, и он считает, что ты просто боишься смерти.

— Каким образом господин Боссе может судить об этом?

— Это длинная история. Хочешь послушать?

— Да, времени у меня сколько угодно.

— Я пересказала Боссе мои впечатления о тебе. Ты из тех, кто с самого начала получил все, о чем мечтал. Прекрасное дело, приносящее хороший доход, огромный дом, дачу, две машины, моторную лодку и — ну, в общем, красивую девушку, то есть меня, правда? — и вот тут-то вмешался Боссе. Выслушав историю твоей жизни, он сказал: когда-нибудь этот человек испугается, что потеряет все сразу, причем потеряет против своей воли и весьма неприятным образом — утратив всякое влияние и состарившись в один день. Этого он захочет избежать любой ценой. И попытается предотвратить несчастье, избавляясь от вещей заранее, пока он еще чувствует себя на вершине. Да, Боссе вспомнил стихотворение Гете, а может, Шиллера о Поликрате, который боялся гнева богов, поскольку владел всем, чем может владеть человек. Поэтому однажды этот Поликрат, чтобы предупредить суд богов и избежать наказания за гордыню, тайком бросил в море свою самую дорогую вещь, а именно перстень, но какой-то рыбак выловил большую рыбу, очень большую и красивую рыбу и принес ее Поликрату. Рыбу разрезали, и в животе у нее оказался перстень, сверкающий всеми цветами радуги. Поликрат получил назад свою драгоценность. И тогда он понял, что не может ничего потерять, что спасения нет и его ждет мучительная смерть. Вот.

— Боже мой, Лили! Неужели Боссе все это сказал?..

— Да... Он считает, что на самом деле ты испытываешь чудовищный страх и хочешь убежать от всего, пока не поздно.

— Мне кажется, Боссе тебе очень подходит.

— Ты с ним согласен?

— Я еще сам не знаю. Тебе нравится мой кофе? По-моему, я отлично научился варить кофе, хоть и негоже хвалить самого себя. Почему ты не научила меня варить кофе, Лили? У тебя было для этого двадцать три года.

— Я хочу знать, зачем ты собираешься все бросить?

— Очень просто. Каждый божий день я делал одно и то же, понимаешь? Постепенно я втянулся в это, все давалось слишком легко и без труда. Нет, я не могу тебе объяснить, Лили. Уж слишком давно мы с тобой не разговаривали.

— Ну хотя бы попробуй.

— Ей-богу, не могу найти ясных и точных слов для того, что со мной случилось.

— Не волнуйся.

— Ты по-прежнему покупаешь платья в «Фоннесбеке»?

— С «Фоннесбеком» покончено.

— Лили, если твои каждодневные действия составляют некий ритуал, тогда все в порядке. И сердце, и руки радуются своему делу. Все имеет смысл. Ты ежедневно приносишь маленькие жертвы, дым воскурений поднимается к небу, и тебе дано видеть божественный свет.

— Я слушаю. Продолжай.

— Но если каждодневные поступки остаются внутри тебя, определяются лишь внешними



обстоятельствами, которым ты подчиняешься или к которым приспосабливаешься, тогда это никуда не годится. У тебя остается свобода выбора: можно следовать плодотворной рутине, а можно не следовать, все случайно, и в конце концов создается иллюзия полной свободы действий и человек становится ненормальным вроде меня. Человеку такое не под силу, он должен все стряхнуть с себя, вернуться к истокам и попробовать начать снова. Извини, лучше объяснить не могу. Вспомни, раньше мне всегда приходилось думать и действовать рационально, логично и трезво. Не забывай.

— Ты думаешь, что найдешь выход?

— Попробую.

— Одно время я за тебя беспокоилась. Помнишь, мы с тобой встретились на Стройеде? Ты нес какую-то несусветную чушь.

— Видишь ли, я тогда свалил дурака и пошел на прием к одному светилу, знаменитому и дорогому психиатру, — из тех, что рассматривают умных людей как обезьян, которых надо держать в клетке. Этот нахал напичкал меня таблетками, наверняка тайно делил доходы с фармацевтической фирмой. Я таких типов много встречал, хотя раньше помалкивал. Если в нашем государстве и следует что-то национализировать, Лили, то прежде всего фармацевтическую промышленность. Так вот, таблетки я выбросил к чертям и приспособился к своему новому состоянию. И все стало яснее. Больше мне сказать нечего.

— Предвкушаю вашу беседу с Боссе.

— Я тоже. Его действительно зовут Боссе?

— Его зовут Берге Ольсен.

— Да? Тогда пусть лучше будет Боссе. Хотя бы слух не режет.

— Я, конечно, желаю тебе удачи, но позволь спросить: на что ты собираешься жить, когда бросишь адвокатуру?

— На что придется.

— Не получится. Ты к этому не привык.

— Получится или нет, время от этого не остановится. День бежит за днем.

— Послушай, мы с Боссе утром обсуждали, правда ли Иисус ходил по воде. Мы любим, проснувшись, поговорить на такие темы.

— Ответ у меня готов. И ходил, и не ходил. Для тех, кто это видел, ходил, для других — нет. Ведь мы живем на разных ступенях. На третьей ступени людям дано видеть больше, чем на первой. Очень просто.

— Помнишь, когда-то тебе часто снилась смерть? Ты просыпался в холодном поту.

— Что-то не помню такого.

— А я помню.

— Стало быть, все идет вперед. Мне больше не снится смерть, я о ней думаю. Постоянно. Тихо и спокойно.

Мы поднялись и вышли в сад. Походили среди деревьев. Я сказал, что у меня не было сил собрать яблоки. Они валялись в траве, почерневшие и сморщенные. Гараж следовало бы покрасить. И лестница в подвал в ужасном состоянии. Лили сказал, что ей совершенно все равно. Она не собирается заниматься домом. Пусть гараж и сад подождут нового хозяина. Мы озябли и вернулись в дом.

— Выпей еще чашечку кофе, Лили. Когда мы с тобой теперь встретимся?..

— В саду холодно. Что мне нравится в Боссе, так это то, что он прекрасно умеет меня согреть, а ведь я часто мерзну.

— Уютно в кухне, правда? Забавно: здесь, в кухне, мы с тобой никогда не ссорились. В комнатах на нас порой находили капризы, во «флоридской гостиной» скандалы были просто неизбежны, но уж в кухне всегда царил мир.

— Давай пройдемся по дому, посмотрим на вещи.

— С удовольствием, Лили, но здесь все твоё.

Мы обошли виллу, разглядывая все эти красивые и ненужные вещи, приобретенные после многочасовых раздумий в соответствии с последним криком моды в области эстетики быта. Новый и старый стили сочетались здесь самым бесстыдным образом.

В так называемой «флоридской гостиной», обставленной со снобизмом в американском духе начала века, нам стало очень холодно. Нам всегда было не по себе, когда мы касались зеркальной полированной поверхности круглого дубового столика, и мы нечасто осмеливались глядеть на

огромный, во всю стену, гобелен с японскими вишнями и дурацким фазаном в центре. Разве что когда у нас бывали гости и возникала необходимость объяснять эту эксцентричность. Гости вечно спорили, красивый гобелен или вульгарный.

— Теперь я вижу, что он ужасен, Стеффен.

— Это твоя мать придумала.

— Ты прав: здесь мы всегда начинали ссориться. Совершенно верно. А начав ссориться, мы всегда вставали.

— Сидя, ссориться невозможно, Лили.

— Может, мы просто не решались сидеть на этих черных плетеных стульях. Идем дальше. Что делать с картинами? Ведь это работы известных художников.

— Мы покупали это дерьмо из снобизма, но мы больше не снобы. Продай их, если сможешь. Деньги тебе пригодятся. Ты ведь будешь главой семьи. Подумай о своем образовании и своем будущем.

Мы вернулись в кухню.

— Снова в безопасности. Выпьем, а? Боссе разрешает тебе пить?

Мы выпили по стаканчику джина «Дженевер».

— Боссе придет не один. С ним будут человек пятнадцать его и моих друзей. Тебе предстоит приятная беседа. Это очень бодрые, энергичные люди.

— Нетрудно показаться энергичным по сравнению с теми гостями, что бывали в нашем доме много лет подряд. Это приятно. Они агрессивны и полны проповеднических идей?

— Ничуть.

— Все прошедшие или, скажем, исчезнувшие, годы я был другом моих друзей, добрым другом моих друзей. Теперь я не вижу в друзьях проку, в некотором роде они мне не нужны, хотя я ценю дружбу выше любви. Вот как странно иногда развиваются события.

— Почему ты хочешь все бросить? Ты, конечно, вполне убедительно все объяснил, но... может, есть более конкретные причины, Стеффен?

— Возможно. Но об этом я говорить не стану. Придется тебе довольствоваться таким ответом.

(В 1968 году суд первой инстанции признал пропавшего без вести оптового торговца А. С. с почти полной степенью вероятности утонувшим в результате аварии его яхты в 1955 году в море возле Сен-Тропеа. Дело можно было решить и раньше, но вдова А. С. не спешила. Я, Стеффен Г. К., был назначен адвокатом пропавшего, 1912 года рождения. Он был спортсменом до мозга костей. Чем он только не занимался: и охотой, и парусным спортом, и легкой атлетикой! Фру А. С. по суду унаследовала все его состояние и в 1970 году вторично вышла замуж.

Летом, 3 июля 1972 года, я ожидал в аэропорту самолет на Осло, куда летел на встречу с норвежскими противниками Общего рынка. В баре рядом со мной пил пиво человек, очевидно, как и я, в ожидании самолета. Он стоял вполоборота ко мне, но, когда он повернулся, я узнал оптового торговца А. С., несмотря на бороду, очки и, возможно, незначительные пластические операции. Поняв, что его узнали, он попросту велел мне держать язык за зубами. Сказал, что теперь живет новой жизнью. В Европе. Быстро кивнул на прощание. Я допил пиво и отправился на посадку.)

— О чем ты думаешь, Стеффен?

— Да так. О тебе и Боссе... Вы пробовали жить вместе?

— Немножко. Он добрый и внимательный. Иногда даже чересчур. Слушай, чемоданы в прихожей — это весь твой скраб? Все, что ты берешь с собой?

— Да, все, и, думаю, достаточно. Немнущиеся рубашки, белье, носовые платки, полотенца, постельные принадлежности — кажется, это так называется? — два галстука, легкое коричневое пальто, аккуратно сложенное, а в двух портфелях у меня несколько книг и папка с набросками. Я начал делать кое-какие записи. Называю их набросками. Весной я перееду в маленькую квартиру во Фредериксберге [Фредериксберг — западный район Копенгагена.] — я уже договорился, — и там найдется место для книг и еще какой-нибудь роскоши вроде транзистора. Больше мне ничего не нужно.

(Бертиль Юханссен пришел ко мне в контору, как мы условились, четвертого мая. Я помогал ему составить распоряжение касательно его собственности и дома. Б. Ю. отказался от должности

инженера-консультанта в крупной фирме, занимающейся строительством портов по всему миру. Ему было сорок четыре года. Он подал прошение о вступлении в орден премонстрантов и собирался жить — и, по всей вероятности, умереть в безвестном монастыре в Бельгии. Я упрекнул его, что он таким образом изолируется от людей. Но он ответил, что это мы живем в изоляции. Один человек живет вдали от другого, даже находясь в одной комнате. Пребывание в монастыре поможет ему познать самого себя, что невозможно в условиях буржуазной семьи, и через Бога найти путь к ближнему. Б. Ю. сидел передо мной бледный и усталый. Назавтра ему предстояло распрощаться с семьей. Для начала его определили работать в монастырском саду. Я неосторожно употребил слово «коммуникация», и он тут же меня поправил. Напрасно критически настроенные и прогрессивно мыслящие люди ищут причину человеческого разочарования в отсутствии коммуникации между обществом и индивидом, между работодателем и рабочим, между родителями и детьми и так далее. Это неверно. Причина разочарования кроется в отчуждении между Богом и человеком. И исцеления надо искать не в политике. Я попросил его через некоторое время написать мне небольшой отчет. Он ответил, что добровольно обязался в первые два года не поддерживать никаких связей с внешним миром. Он также обязался в эти первые два года не отказываться от своего решения и не покидать монастырь. Только так, сказал Б. Ю., у него хватит сил сосредоточить все свое внимание на единственно существующем: божественном предназначении мира.)

— Если тебе что-нибудь понадобится, Стеффен, звони или сразу приходи.

— Ладно. Думаю, ничего не понадобится. Ты, конечно, решишь, что я лицемерю, но я все же скажу тебе откровенно: если мне что-нибудь будет нужно, придется просто приспособиться и обойтись без этого. И все дела.

— А ты не боишься, что это приведет к самолюбованию? Не лучше ли взять и приобрести то, чего не хватает?

— Ты вся в этих словах, Лили.

— А чем ты собираешься заниматься с апреля?

— Писать. Во-первых, небольшую работу по истории общескандинавской правовой системы, во-вторых, кое-что личное. Мне очень нравится писать. На бумаге любое банальное переживание приобретает перспективу и при перечитывании развивается дальше. Написанное сохраняется и в то же время начинает жить собственной жизнью. Всем людям моего возраста следовало бы покончить с так называемым производительным трудом и взяться за перо. Только тогда они познали бы смысл собственной жизни. Ох, ну и разболтался же я!

— Надеюсь, ты действительно так думаешь?

— Безусловно. Я очень изменился.

— Главное, не опускайся, следи за собой, Стеффен. По-моему, это самое важное.

— Я каждый день бреюсь и принимаю душ.

— Молодец. И помни, что тебе надо немного похудеть. Ты слишком толстый.

— Это произойдет само собой. Лили, они пьют — те, кто придет к нам?

— Не особенно. Кое-кто вообще не пьет. Им всем с утра на работу, а многие придут с детьми.

— С детьми? Неужели они так поздно берут с собой детей?

— Да, как правило. Приносят в специальных сумках. Ребятишки мирно спят, а родители, особенно Анна Мари и Деннис, придерживаются мнения, что дети должны как можно больше времени проводить со взрослыми.

— По-твоему, это мнение? Я совершенно по-другому понимаю это слово.

— Ты не знаком с проблемой изнутри, Стеффен.

— Несчастные дети, вынужденные жить вместе с родителями на веки вечные. Уверен, что когда-нибудь они возненавидят родителей.

— Будь с ними приветлив. Ты иногда умеешь быть таким приветливым с людьми.

Анна Мари, Деннис, Инга, Крис, Мортен, Хелле, Стефан, Йетте, Ларс Оле, Кайя, Клаус, Пер, Пия, Аннета. Были также перечислены имена младенцев, спящих в сумках. И еще Боссе.

Боссе крепко, по-дружески пожал мне руку.

— Я особенно радовался встрече с тобой.

Один только я назвался по фамилии.

Всем пробормотал «Карлсон», даже младенцам.

Лили обошла всех с напитками. Гости принесли фрукты, печенье и шоколад. Многие пили

апельсиновый сок. Боссе держался хозяином, в том числе и со мной.

Лили представила меня как человека, который решил выйти из игры. Я не успел остановить ее. Едва она кончила фразу, гости захлопали.

Собираюсь ли я путешествовать? Собираюсь ли я читать? Собираюсь ли я обзавестись гуру-наставником и жить только духовной жизнью? Хелле, сидевшая рядом со мной, высказала предположение, что Стеффен прежде всего хочет жить как свободный человек. Я поспешил заметить, что человеку никогда не суждено обрести свободу. Независимо от общественного строя или культуры. На мгновение они затихли, обдумывая мои слова, которые, собственно, вовсе того не заслуживали.

— Как тебе костюм Лили? — шепнул Боссе. — Нравится?

— Он ей идет.

— Это я купил. Лили к лицу белое.

— Раньше ей было к лицу зеленое.

Боссе посмотрел на меня прищурившись:

— Ой ли?

Инга рассказала о североамериканских индейцах, Клаус — о цыганах в Дании, Стефан — о басках на севере Испании, Хелле — о палестинцах, Кайя — о сицилийских рабочих.

Я спросил всех сразу, нет ли в их компании хотя бы одного, кому не нравятся остальные.

Они долго размышляли, потом переглянулись и покачали головами.

Конечно, порой случаются разногласия, например, когда они едут вместе отдыхать или обсуждают очередные покупки. Но в таком случае проблема всесторонне рассматривается и непременно находится приемлемый для всех вариант.

Лили сказала, что Стеффен наверняка не верит услышанному.

Пия предложила мне присоединиться к коммуне. Я вежливо отклонил эту идею. Сказал, что слишком поздно. К тому же со мной были бы одни неудобства.

Они попытались заверить меня, что мое место среди них. Сказали, что им известна моя гуманистическая позиция по газетным статьям и рассказам Лили (она незаметно подмигнула мне).

Я ответил, что человек, который, подобно мне, более двадцати пяти лет служил буржуазно-либеральной, частнокапиталистической государственной системе, не способен к жизни в коммуне.

— Мы всегда будем тебе рады, — сказал Деннис.

— Спасибо. Ваши слова меня скоро до слез доведут.

Споласкивая на кухне стаканы вместе с Лили, я спросил:

— Где ты познакомилась с этими людьми?

— С одними в кружке общественных наук, а другие — друзья Боссе, стало быть, теперь и мои друзья.

— А сколько они зарабатывают, самое большее? Очень неприлично об этом спрашивать?

— Спроси Денниса. Он служит в муниципалитете. Кажется, получает восемьдесят тысяч в год или около этого.

— Я просто из любопытства.

Детей уложили спать рядом на длинном диване в гостиной, которой мы почти не пользовались. Я несколько раз ходил их проведать. Все спокойно сопели. Только один чуть шевельнулся. Мало разбираясь в детях, я смотрел на них без предубеждений. Разглядывал одно личико за другим и представлял их себе взрослыми. Вдруг одна морщинистая ручонка раскрылась, и я сунул в ладошку указательный палец. Крохотные пальчики моментально сомкнулись, я растрогался и в то же время испытал дрожь, как будто кусочек чужой кожи зашили в мою.

Я спросил Хелле, Йетте, Клауса и прочих, есть ли у них еще дети. Они кивнули.

— Но многие из нас поздно завели детей. Инга, например, родила первого в тридцать три года.

— Я тоже долгое время просто не решалась взять на себя такую ответственность, — призналась Йетте.

Лили сидела на полу, держа на коленях большую курчавую голову Боссе. Я спросил ее, не стоило ли и нам в свое время подумать о детях. Она покачала головой. Будь у нас дети, ответила она, мы бы сейчас не сидели здесь, в окружении таких замечательных людей.

Они расположились на полу широким кругом, эти спокойные люди в возрасте от тридцати до сорока, многие с седыми прядями в волосах и проседью в бороде и бакенбардах. Несмотря на ноябрь, некоторые были в сандалиях, но никто не был одет экстравагантно. Йетте, которой наверняка было не

меньше тридцати, заплела волосы в косички. Компания могла бы сойти за группу школьников или индейское племя, выжившее, приобщившись к цивилизации.

Я долго слушал их рассказы про хутор на острове Лангеланн, куда они ездили при всяком удобном случае. Они романтизировали природу. Говорили о жизни в деревне, о мире и гармонии, царящих там. Все дружно поддерживали предложение Ларса Оле о том, что каждому жителю города с населением свыше пятидесяти тысяч должно быть обеспечено право выезжать в деревню по крайней мере на два месяца в году. Они явно сами верили в эти утопии, и, к сожалению, опытный демагог с помощью подходящих слов в подходящий момент наверняка сумел бы подчинить себе всю компанию, привести ее в хаотичное состояние. Об этой опасности они и не подозревали, не видели черту, перейдя которую человек перестает быть личностью и становится скопищем, толпой.

Боссе включил проигрыватель, который принес с собой, слушали народную музыку, группу «Ху» и даже старика Бенни Картера; некоторые танцевали, но не было «парочек», ищущих уединения. Мне приятно было находиться среди них. Вилла стала человеческим обиталищем. То ли забытое и прекрасное прошлое на один вечер материализовалось передо мной в виде живых существ, то ли мне посчастливилось заглянуть в невероятное будущее.

Мы с Ингой по-братски разделили апельсин. Она спросила, не одиноко ли мне. Я кивнул, потому что, как всякому мужчине, мне очень хотелось немного сочувствия. Она взяла меня за руку и сказала, что, если понадобится, всегда готова со мной поговорить.

Я выбрался из круга, поднялся с пола и постоял у дверей. Стоило мне сосредоточить внимание на одном из них, как я сразу чувствовал усталость. Понять их можно было только всех вместе, слушая всех их одновременно и обращаясь к группе целиком. Иначе я их не воспринимал.

Никто не слышал, как я позвонил старой фру Бертельсен. Сказал, что приеду через полчаса. Вызвал такси. И никто не заметил, как я вынес в сад чемоданы, портфели, сумку и ящик с морской свинкой.

В этот ноябрьский вечер 1972 года весь мой дом был ярко освещен. В саду на яблоне еще трепетал одинокий листочек.

Когда я закашлялся, огромная кровожадная овчарка соседей залилась лаем. Жители аристократического Хольте считали, что полиция недостаточно охраняет их частные владения, и поэтому завели самых свирепых и чутких сторожевых псов. Эти люди могли позволить себе платить штрафы за нанесенные собаками увечья.

У дерева возле навеса для машины стоял мой старый велосипед выпуска 1944 года. В последнее время я не раз им пользовался. Теперь я решил купить новый.

Я вынес свои пожитки на тротуар.

Садясь в такси, услышал, как меня окликнули.

Несмотря на позднее время, фру Бертельсен не спала и с нетерпением ждала меня. Разливая чай, она сказала, что уж на сей раз я не должен возвращаться к «этой женщине». Я не стал ей говорить, что собираюсь в начале апреля переехать в квартиру во Фредериксберге. Пусть фру Бертельсен думает, что я останусь у нее до конца ее дней.

Как и в прошлый раз, я получил комнату, которая служила детской дочери фру Бертельсен, Тове. На стене все еще висели ее рисунки, и на маленьком столике красовался кукольный дом. Хотя Тове уже вышла замуж, родила двоих детей и жила в Орхусе, по ее желанию в детской ничего не меняли. И я не возражал. Кровать тут была широкая, с хорошим жестким матрасом.

Когда я лег в постель, фру Бертельсен постучалась и приоткрыла дверь.

— Я только проверяю, не забыли ли вы погасить свет. Спокойной ночи.

Сама она спала в соседней комнате, и я слышал ее тяжелое дыхание и тиканье будильника, который она завела, чтобы разбудить меня в половине восьмого. Вот так все сложилось. Могло быть и хуже.

## В 73-м

### 1

— Зажмите большим пальцем правой руки правую ноздрю и втяните воздух через левую. Вот так, и при вдохе выпятите живот.

— Не могу.

— Попробуйте. Смотрите на меня. Живот выпячен. Мы говорили об этом в прошлый раз. Упражнение называется пранаяма. Главное — сосредоточивать внимание на вдохе и выдохе.

— Думаю, потребуется пять лет, чтоб усвоить все это.

— Значит, продолжайте пять лет. Теперь ложитесь на белый коврик. Примите правильную позу. Давайте.

— Мое тело запущено. Оно не действует как надо.

— Избегайте слова «действует». Ему нет места в той области человеческой жизни, где мы с вами сейчас находимся. Итак — падмасана. Обратить взгляд на восток или на север.

— Все равно — куда?

— Лучше на север. Тогда легче излучать добрые мысли.

— О'кей, пусть будет север.

— Положите левую ступню на правое бедро, вот, прижмите покрепче. Так на вас снизойдет удовлетворение. Вы упражняетесь дома?

— Да уж будьте покойны.

— Что происходит с тем, кто регулярно занимается пранаямой?

— В нем поднимаются силы кундалини, очищающие разум, придающие ему открытое лицо, сияющие глаза и хорошую память. Послушайте, вы должны были сразу отказать мне, увидев мою тушу.

— Не отчаивайтесь. Когда вы освоите мудры, бандхи и пранаямы, ваше тело станет вмещением удивительных превращений.

— Да-да-да.

— У каждого движения должна быть цель. Когда-нибудь такой целью для вас станет неизвестное место во внефизическом мире, где материя управляется лишь нашими чистыми желаниями.

— Разумеется. А теперь — хватит на сегодня. Я уже разваливаюсь на части.

Я снимаю красный тренировочный костюм, мокрый от пота, досуха растираюсь полотенцем, испытываю внезапное отвращение к своей разгоряченной прыщавой коже, к бледному, дряблему животу и тонким кривым ногам, ко всему этому собранному из случайных частей телу — без красоты, без гармонии, — телу, которое наглядно отражает упадок буржуазии, как выразился бы марксист, телу немзыкальному, как сказал бы преподаватель музыки в прогрессивном детском саду, телу, лишенному фантазии, как отозвался бы о нем актер Один-театра [Один-театр — датский, так называемый независимый театральный коллектив.] или другого аналогичного коллектива. Постепенно я постигаю всю терминологию новейших теорий о смысле и использовании тела. Когда я надеваю носки, мне кажется, что у меня отсыхает мизинец на левой ноге.

Я долго не могу открыть замок на моем новом «Рэли». За мной внимательно наблюдает мальчик лет семи, и я краснею. Наконец замок с громким щелчком открывается, и, когда я, разбитый и измученный после урока йоги, усаживаюсь в седло и отталкиваюсь правой ногой от края тротуара, ко мне возвращается прежнее настроение. Как прекрасно снова ехать на велосипеде! Вот когда появляется смысл в руках и ногах.

Свернув у церкви за угол, я слезаю с велосипеда и прислоняю «Рэли», не забыв запереть замок, к низенькой каменной ограде. Потом брожу по кладбищу и ищу могилу Софи Эрстед, о которой я слышал так много хорошего. После долгих поисков я ее нахожу, и вдруг со школьного двора является, сморкаясь в большой клетчатый платок, мой старый учитель датского, Бойсен, и мы смешиваемся с толпой дам, что составляли некогда букет датской литературы. Красивые и начитанные, они уверенной рукой направляли своих робких мужей-писателей. Они, эти дамы, любили прогуливаться по длинным аллеям с книгой в руках. Но вот темнело, и знатым горожанкам становилось опасно находиться вне дома. Камма Рабек, Софи фон Халлер, фру Прам, Костанс Лет... Смерть стирает всякие различия меж людьми, и теперь старый учитель Бойсен в одном ряду с ними в царстве вечного блаженства. Беспокоясь за новый велосипед, я спешу вернуться к нему и на этот раз быстрее справляюсь с замком. Детей поблизости нет.

Я ставлю велосипед в сарайчик во дворе нашего дома, стараясь не поцарапать лакировку детских колясок и японских мотоциклов. Я здесь новичок и должен проявлять внимание к окружающему, даже к детским рисункам мелом на тротуаре.

Я сталкиваюсь с вечно бдительной дворничихой, которая вбила себе в голову, что я условно

освобожденный преступник. По ее глазам видно, как ей этого хочется.

Поднимаюсь в свою мансарду. На дверях первого и второго этажей дощечки с жизнерадостными именами: Лассе, Карин, Тине, Том. Начиная с третьего и выше — одни фамилии. На четвертом этаже живут две учительницы-пенсионерки, наверняка одинаково чистые до ванны и после нее. На пятом обитает некий доктор философии. Проходя мимо двери, я каждый раз слышу тавканье его мопса.

Я отпираю дверь и погружаюсь в непривычную тишину. Гостиная, спальня, кухня, маленькая ванная, прихожая.

Телефона нет. Зато у меня новая кровать, куда можно усадить гостей, если таковые когда-нибудь будут. Большая, широкая кровать, достаточно просторная для моих дурных снов. У меня есть шкаф, хотя и не тикового дерева, и плетеное кресло, и складной стул, и шведский лоскутный коврик, который я когда-то купил в курортном городке Арильде. И напольная ваза голландской работы, и две старинные гравюры на стене. У кровати низенький столик из светлого бука. Все на виду.

Я ставлю чайник. Пока вода закипает, достаю сигару «Флора Даника» и, понюхав, сую ее в рот. Потом спрашиваю себя, стоит ли это минутное удовольствие угрызений совести перед йогой. И ломаю сигару в своей единственной пепельнице.

Я забыл сказать, у меня есть еще письменный стол. Я сажусь за него с чашкой чая и пишу. Разбираю записи, которые начал прошлым летом и продолжал зимой, живя у фру Бертельсен.

Работа над диссертацией по общескандинавской правовой системе идет вяло. Я потерял к ней вкус, дойдя до тех времен, когда Дания, покинув Скандинавский союз, оказалась на опасной дрейфующей льдине. Хороший чай я купил. Правда, не помню, как он называется, и теперь вряд ли мне удастся купить этот же сорт.

Морская свинка спит.

Мне очень хочется виски.

Все мое имущество еще очень новое, без запахов и изъянов, которые дарят чувство уюта.

Я читаю. Читать я начал с опаской. Выписанный по почте Музиль подождет до зимы. Я читаю ответы Иисуса страждущим, читаю высказывания невозмутимого Мао о партизанской войне. По-моему, мне хорошо. Скоро я начну слушать музыку.

## 2

Я катаюсь на велосипеде, наслаждаясь непривычной свободой. С каждым днем уезжаю все дальше и дальше.

На моем «Рэли» выпуска 1972 года, номерной знак WX 43312, я езжу даже до Сунневедсгаде, Даннеброгсгаде и Эленшлегерсгаде, где избегал ходить в течение последних двадцати лет. Молодым адвокатом я участвовал в конфискации имущества у жителей этих улиц. На Даннеброгсгаде всегда дул ветер, а на Эленшлегерсгаде ужасающе воняло мочой. Система продажи в рассрочку, самая подлая выдумка так называемой свободной экономики, рано или поздно добиралась до своих жертв. Однажды, придя, чтоб конфисковать пылесос, я споткнулся на темной лестнице о дохлую крысу. Из этих трудностей я возвращался в адвокатскую контору, где почти не говорили о политике, разве что для разнообразия, минут пятнадцать, приходя к полному согласию в вопросе дефицита жилья.

Лица в окнах кажутся мне масками, приклеенными к оконным стеклам кем-то, кто давно покинул квартиру.

Я оставляю велосипед у входа в кафе на Истедгаде, хотя предпочел бы взять его с собой внутрь. Мрачное помещение с темными дверьми и темными стенами, черным потолком и изразцовой печью, которую не удосужились убрать, когда провели центральное отопление. Я заказываю чашку кофе. Официант смотрит на меня. Кофе? Кивнув, я выбираю не слишком большой столик для моего короткого пребывания здесь.

За столом в центре зала сидят два молодых человека в пальто, они в открытую разложили перед собой только что украденные вещи. Я вижу браслет и несколько колец. Через пару минут они поворачивают головы в мою сторону, словно почуяв неладное. Хорошо, что на улице светло. Я охотно сказал бы этим типам в пальто: послушайте, я был защитником грабителей разных масштабов и разных интеллектуальных уровней. Не знаю, кто из них воровал по нужде, а кто из безделья, но наверняка они были далеко не так опасны для благосостояния страны, как те, у кого они воровали. Поэтому я считаю, что за кражу драгоценностей, пусть она будет хоть сто первая, следует наказывать

менее строго, чем за любую другую.

Все это мне хочется сказать молодым людям за центральным столиком, но я воздерживаюсь. Ибо знаю, что пью кофе в таком месте, где любые социальные теории в лучшем случае неуместны, в худшем — производят впечатление предательства.

Велосипед стоит на месте. Я не спеша еду домой, в мансарду на аллее Мадвиг. Жарю себе хороший рубленый бифштекс без лука. Пью минеральную воду, а после выкуриваю тонкую сигару.

Каждый день я встаю рано, бреюсь, основательно моюсь (ноги — через день) и ем на завтрак яйцо всмятку, кусочек хлеба без масла и ржаное печенье. И пью не кофе, а чай. Я упражняюсь в концентрации внимания на мельчайших деталях, которые должны быть для меня одинаково значимыми.

Возможно, мне не хватает кошки, скромной кошки с хорошими привычками, которая только бы слушала, не вмешиваясь в мои дела, но я знаю, что чересчур привязываюсь к животным, и потому довольствуюсь морской свинкой, которая прозимовала у фру Бертельсен, хотя та постоянно кормила ее самой неподходящей пищей.

Я очень много читаю. Правда, я не привык читать что-либо другое, кроме специальной литературы, да еще в нарастающей с каждым днем тишине, поэтому иногда вскакиваю и беспокойно мечусь по комнате.

У меня остались побочные заработки. Я веду раздел читательских писем по юридическим вопросам в одном еженедельнике и преподаю будущим ревизорам в некоем высшем учебном заведении. Последнее отнимает у меня два часа в неделю — неразумная трата драгоценного времени, но старый пуританин, сидящий во мне, требует выполнения определенных обязанностей.

Однажды, после долгого чтения, писания и тишины, мне начинают мерещиться звериные следы на потолке. Я вскакиваю с арильдского коврика, на котором сидел, ношусь по комнате и выкрикиваю что-то бессвязное. В несколько неуклюжих прыжков преодолеваю лестницу.

В дверях на первом этаже стоит дворничиха.

— Боже, куда вы так спешите?

— Я забыл кое-что купить.

— Но ведь в вашем распоряжении целый день!

— В каком смысле?

— В смысле... вы же больше не занимаетесь адвокатурой?

Я забыл код замка на велосипеде и потому решаю идти пешком. Идти пешком в какое-нибудь уютное место. Я ищу, ищу и наконец нахожу симпатичный кабачок на границе добропорядочного Фредериксберга и полупреступного Вестербро. Быстро выпиваю две рюмки крепкого ликера «Бонекамп» и перехожу на пиво. Вскоре все становится на свои места, я пьян и весел, и ко мне возвращается давнее желание красиво умереть в зимнем буране.

Остаток дня и часть ночи проходят в сумбуре встреч со странными людьми, которые при голубом свете люстр кажутся великанами. Стулья исчезают, а из игровых автоматов сыплются тысячи крон, и их считают на залитых пивом колченогих столах. Проснувшись, я обнаруживаю, что лежу одетый на чужой кровати. Рядом на стуле, с бутылкой пива в руке, спит какой-то толстяк. Я потихоньку выбираюсь на улицу. Холодное серое утро на бульваре Сендер.

Обычное неизбежное невезение, утешаю я себя весь день. Я еду на такси в учебное заведение, где целый час веду семинар по правам несовершеннолетних. У меня кружится голова, язык обложен, но я выдерживаю положенный час и иду домой пешком.

Остается загадкой, каким образом этот загул обошелся мне всего в шестьдесят крон. Кто финансировал мой спасительный хмель?

Я иду в ближайший магазинчик, покупаю газету и пачку писчей бумаги. Получив деньги, владелица магазина, фру Алиса Йенсен, улыбается мне:

— Всем бы следовало жить так, как вы. Сидеть себе и писать, что взбредет в голову.

— Увы, мне приходится писать и тогда, когда в голове пусто.

— Ох, это, наверно, неприятно.

Я пытаюсь незаметно прокрасться мимо двери на пятом этаже, но мопс заливается лаем, и старый доктор философии открывает дверь, точно давно поджидал меня. Жестом он приглашает зайти и по моей просьбе прогоняет свою тварь в ванную. Ему нужно помочь составить письмо в государственное пенсионное управление. На блестящей лысине доктора философии торчат клочки седых волос. Глядя на него, я каждый раз удивляюсь, как человек может дожить до восьмидесяти. Я



спрашиваю, чем лучше лечиться, когда больно глотать, и он, не задумываясь, отвечает:

— Душистой фиалкой. Лекарственные травы поддерживают во мне жизнь, господин адвокат. Без них я не дожил бы и до пятидесяти. Когда человеку стукнуло пятьдесят, смерть уже за углом. Но я обманул ее. Благодаря травам.

— А я езжу на велосипеде. Во мне жизнь поддерживает велосипед.

— Вы еще молоды, господин адвокат. И все же не забывайте о лекарственных травах.

Я поднимаюсь к себе. Откуда весь дом знает, что я адвокат. Ведь домовладелец обещал помалкивать об этом.

Мне снится, что на меня кто-то смотрит. Я просыпаюсь. Не решаюсь больше заснуть и жду рассвета.

### 3

Не успел я научиться самостоятельно пришивать пуговицы к пиджаку, как явилась Нина. Она обходит комнату с таким видом, точно само собой разумеется, что я ее ждал.

— Прости, милый Стеф, что не заходила раньше: было много дел.

— Хочешь апельсинового сока? Ничего другого у меня нет.

— Почему ты не уедешь в деревню?

— Мне больше нравится город.

— Если соберешься в Париж, могу порекомендовать тебе хороший отель на правом берегу

Сены.

— У меня и в мыслях нет ехать в Париж. Ненавижу этот грязный город. Я северянин. И это прежде всего.

Морская свинка проявляет признаки беспокойства. Животное не выносит Нининого голоса. Я начинаю рассказывать о себе.

— Может, испробуем твою новую кровать?

— Нет. С этим покончено.

Мне удастся нагнать на Нину тоску, через полчаса она уходит, но сегодня неудачный день: Отто тоже вздумал прийти без предупреждения.

— Старина Стеффен, бравый мушкетер! Помнишь, на конгрессе адвокатов в Ньюборге, пока наши коллеги спали с похмелья, мы с тобой поменяли в отеле местами сто пар ботинок? Хорошие времена были, а? Выйдем-ка со мной на улицу. Увидишь нечто, что произведет на тебя впечатление, если ты еще в состоянии радоваться жизни.

— Что там такое?

— Мой новый «воксхолл». Давай прокатимся в Хельсингер, я угощаю завтраком в ресторане на пристани.

— Отто, я больше не езжу на машинах, разве что на такси.

Он кладет мне руку на плечо.

— Да ты, дружище, совсем раскис. Ну вступили мы в Общий рынок, и дело с концом — выбрось из головы. Никогда не думал, что ты будешь так тяжело переживать поражение.

Для Отто существуют только победы и поражения.

— Я занят, Отто. Я пишу.

— Ладно. А как с финансами? Судя по тому, что я слышал, тебя следует отдать под опеку. Деньги-то у тебя есть?

— Спасибо, перебиваюсь.

— Но этого мало, Стеффен.

— Хватит.

— Далась тебе политика! Ну ладно, я знаю, что ты был вроде постоянного сотрудника «Моргенбладет», но зачем же валить в одну кучу политику и юриспруденцию? Должен тебе сказать, многие наши коллеги были глубоко потрясены статьей, в которой ты предлагал контролировать логи и ордена. Черт возьми, разве у нас в стране нет свободы объединений?

— Есть, и богачи злоупотребляют ею. Фантастические вещи происходят в этих тайных братствах.

— Ну уж нет. Тебе что-то мерещится. А твои выпады против Общего рынка? Тоже стрельба из пушки по воробьям. По-моему, адвокатам не следует вмешиваться в политику.

— По-твоему, Отто, никому не следует вмешиваться в политику, кроме крупнейших землевладельцев. Хочешь апельсинового соку?

— Ты только не думай, что я самый закоренелый мракобес в Копенгагене. Конечно, я против красных, но и с теми, кто отказывается платить налоги, мне не по пути, и с неофашистами, которые только и мечтают разжечь костры на улицах. Я не такой, Стеффен.

— Я этого и не думаю. Ты всегда был умным дельцом.

— Стеффен, старина, не будем ссориться. Мы ведь знакомы с тринадцати лет, вместе подтверждались. В церкви Хольмен, помнишь? С тех пор, должен признаться, я ни разу не был в храме божием. Поехали, прокатимся чуточку и перекусим в Хельсингере, идет?

— Я же сказал, что занят.

Отто встает, оставляет стакан и застегивает свое легкое пальто.

— Но ведь мы по-прежнему друзья?

— Разумеется.

— Или, может, чтобы называться твоим другом, нужно быть аскетом, апостолом и добродетельным человеком, а?

— Отнюдь нет, Отто. Ничего подобного. К друзьям не применимы нравственные критерии; если бы ты обворовал пенсионера или выдал собственного сына ЦРУ, ты все равно остался бы моим другом. Я так смотрю на вещи.

Сбитый с толку, Отто смотрит на меня, быстро кивает и выходит в прихожую. Я хватаю его за руку, может быть, слишком сильно, и раздраженно говорю:

— Какого черта ты меня не спрашиваешь, кого же я все-таки называю другом?

— Поговорим об этом в другой раз, ладно? На сегодня спасибо.

После ухода Отто я кормлю взволнованную морскую свинку, которой так и не придумал имени. Зверюшка мечется по клетке, принюхивается и издает какие-то новые, непонятные звуки.

Успокоившись сам, я читаю статью про группу людей, которых в экспериментальных целях на какое-то время изолировали, уложив на кровати и надев им на руки картонные чехлы, чтобы исключить всякое соприкосновение с посторонними предметами. На глазах у них были пластмассовые очки, а в ушах резиновые пробки. Гудящий поблизости вентилятор искажал все звуки и воздействовал на температурные условия. Результат таков: в начале эти подопытные думали о разных вещах личного характера, потом стали раздражительными и подавленными, а кончилось все зрительными галлюцинациями, при которых слепящий свет сменялся причудливыми узорами, а один из испытуемых на два дня утратил, как говорится, дар речи. Далее утверждалось, что через четыре дня все они снова чувствовали себя хорошо и обрели работоспособность, но я в этом сомневаюсь.

Несколько дней я сижу на арильдском коврике и почти не ем и не пью. Я напихал в уши ваты и жду приятных галлюцинаций — хочу, чтобы синее пламя с треском пожирало призрачные двери и стены, но ничего не происходит. Голод и усталость заставляют меня потихоньку вернуться к старым буржуазным привычкам.

Однажды я забываю прийти на семинар, где обучаю будущих ревизоров.

В другой раз я падаю с велосипеда на Фредериксбергской аллее. Из машины выходит молодая женщина и помогает мне подняться. Она предлагает отвезти меня домой.

Долгое время чертовски болит спина, и некому пожаловаться.

Фру Алиса Йенсен, из магазинчика, рекомендует мне одного знахаря в окрестностях Хиллереда, и я еду туда на такси. Благодаря моему полному доверию к способностям этого человека все боли проходят за несколько дней.

Я снова катаюсь на велосипеде. Еду на Амагер и замечаю, что наступила весна. В аэропорту я выпиваю бутылку пива и пытаюсь вспомнить те часы, что проводил здесь в ожидании самолета. Все это теперь пройденный этап. Я еще не зашел так далеко, чтобы сказать: этого не было.

#### 4

Восемь провожающих встают, и доктор философии, живший на пятом этаже, опускается под землю. В крематории прохладно. Отопление выключено в связи с новыми планами экономии в протестантской церкви. Веет холодом даже от роз. Мопсу покойного лучше было бы отправиться в пламя вслед за ним.

Пятеро из присутствующих на похоронах едут на машине в кафе во Фредериксбергском парке,

где их ждет кофе с пирожными. Земля в парке теплая и влажная. Люди идут с поднятыми лицами. Все снова как бешеные кинулись загорать.

Сестра покойного показывает мне фотографию его жены, умершей в возрасте сорока лет. Анна Лауэсен, известная в свое время актриса, успешно выступавшая на сцене, в частности, в театре Дагмар. Я помню, мой отец говорил мне о богатом даровании Анны Лауэсен. На фотографии у нее чуть-чуть высунут кончик языка. Большие, печальные глаза, полные эротики немого кино (появление звука естественным образом сгладило утрированные страсти прежних времен). Сестра доктора философии предлагает мне фотографию Анны Лауэсен, и я принимаю ее. В моей фантазии мне видится потусторонняя встреча этой дамы с моим отцом.

На свой страх и риск я от имени присутствующих плачу за кофе и пирожные. Вместе с сестрой покойного и ее подругой детства мы идем через Фредериксбергский парк в направлении к выходу у полукруглой башни.

— Здесь мы с Метой в детстве играли. Моя мама сидела на скамейке и присматривала за нами.

— Надо думать, с тех пор мало что изменилось?

— Абсолютно ничего. Правда, Мета?

— Да, только деревья были чуть пониже.

— Знаете, господин адвокат, у меня была красивая большая шляпа с широкими лентами, и однажды она улетела прямо в кусты. Помнишь, Мета?

— Конечно. Мы целый час ее искали.

— И нашли?

— Да, слава Богу. Мне подарили ее на конфирмацию. Это было в тысяча девятьсот восьмом году.

Мы останавливаемся возле памятника Фредерику VI [*Фредерик VI — король Дании в 1808-1839 гг.*] и смотрим на неизменные лютики у его подножия. Дамы кивают — в их памяти царит полный порядок. Обрывки прошлого смешаны с их личными воспоминаниями. Сняв черные перчатки, они пожимают мне руку и уходят. Я смотрю им вслед. Возле театра ABC они останавливаются (неужели их интересуют театральные афиши?) и расходятся в разные стороны, не подав друг другу руки.

Я вхожу в магазинчик и говорю фру Алисе Йенсен:

— Дайте мне ту дрянь, вы знаете, что я имею в виду.

Она протягивает мне еженедельник, в котором я отвечаю на вопросы читателей об условиях развода, правах на детей, тяжбах между соседями, налоге с наследства, обязанности намордника для собак и так далее и тому подобное.

На месте моего «Юридического почтового ящика» я с удивлением обнаруживаю новый раздел: «Как самому построить лодку». Странно: редакция не уведомила меня о закрытии «Почтового ящика», а внизу, в едва заметном углу, я читаю, что осенью «Юридический почтовый ящик» будет возобновлен при участии адвоката Ильсы Лунд.

— Меня уволили, фру Алиса Йенсен. Женщины всюду берут верх.

— И это естественно. Я вам очень сочувствую, господин Карлсон. Зайдите выпейте чашечку хорошего кофе.

Большое окно подсобного помещения магазина выходит во двор, где растет старый вяз и стоит двухэтажный домик, в прежние времена, наверно, служивший летней дачей зажиточным горожанам.

— Теперь в нем живут простые люди, господин Карлсон. Те, кому не по средствам роскошные виллы.

— Я только что с похорон, фру Алиса Йенсен.

— Просто, фру Йенсен или Алиса Йенсен, не надо обращаться ко мне так торжественно. Кто у вас умер?

— Старый господин из моего подъезда, хозяин мопса.

— Он задолжал мне двадцать крон пятьдесят эре.

— Вы примете от меня эту сумму?

— Разрешите мне сказать откровенно: перестаньте умничать. Выпейте еще чашечку. По моему, мы с вами очень мило беседуем. Теперь редко с кем так удается.

— Я с вами не согласен.

— Может, вы как-нибудь вечером навестите меня в неофициальной обстановке?

— Я бы с удовольствием, но со временем у меня плохо.

— Очень жаль, я от чистого сердца...

Пришли покупатели, и Алиса Йенсен идет к прилавку. Я пишу на обрывке бумаги прощальную записку и выхожу через заднюю дверь.

Стоя в телефонной будке, я слышу, как Лили отвечает «алло», и осторожно кладу трубку, не выдавая себя. Я поднимаюсь к себе в квартиру, знаю, что наступают часы невыносимой свободы и тишины, и ищу припасенную на всякий случай бутылку виски.

Запах роз в крематории... влажной весенней земли... теплого тела Алисы Йенсен...

Я вытаскиваю на середину комнаты ящик с морской свинкой, готовый прикончить зверюшку.

Кладу на кухонный стол стопку книг и рядом коробок спичек, готовый поджечь книги.

Пью виски. Одна рука уже спокойна. Ею я вытираю пот со лба. Пью, чтобы убить время до ночи. Виски, старый добрый друг, успокаивает кровь. На полбутылке я останавливаюсь и варю крепкий кофе. Залпом выпиваю три чашки и пытаюсь слушать Скарлатти, но уравновешенные люди барокко с их напудренными париками и изящными туфлями на пряжках сейчас мне ни к чему. Они чересчур легко относились к жизни, эти люди. Я брожу по комнате, открываю окно и вижу, как внизу по улице движутся статуи, а когда оборачиваюсь, оказывается, что запах роз из крематория вырос в густую изгородь вокруг трясины, по которой пролег мой скромный жизненный путь. В воздухе вибрируют древняя поэзия с гимнастических уроков Бойсена и обнаженная фру Алиса Йенсен.

Мне снится одна из моих теток с материнской стороны по прозвищу Крошка — половинка ангела вместо целой матери. Она стоит передо мной в костюме наездницы и каким-то странным голосом зовет ехать верхом на поиски моего отца. Мы скачем на маленьких лошадках, она поет и смеется, и вот уже совсем не отца нужно найти, потому что он машет нам с балкона, — надо взобраться на гору, кричит тетя Крошка, которая постепенно преобразается, становится невидимой, и наконец во сне остаются лишь несущиеся во весь опор лошади.

Когда я просыпаюсь, за окном светлое спокойное утро. Я с удивлением обнаруживаю, что аккуратно сложил одежду. Пиджак и брюки висят на плечиках. Морская свинка рада, что ее кормят. С книг на кухонном столе смахивается пыль, и они отправляются обратно на свои места.

## 5

Я покупаю газету у Алисы Йенсен, считая, что сегодня вторник, но, оказывается, уже наступил четверг, помимо моей воли.

В среду мне нужно было вести семинар по основам права, но я об этом забыл.

Не взвешиваясь, я знаю, что похудел до семидесяти пяти килограммов. Я не придерживаюсь никакой диеты. Но думаю, мне следует избегать фруктов.

Сидя за письменным столом, я вижу, как за окном поднимается в небо красный шарик. Я подхожу к окну, перевожу взгляд с шара на мальчика внизу. Мальчик протянул вверх руку. Шарик несется прямо к высокому каштану и застревает в ветвях на уровне пятого этажа. Возвращаясь к пишущей машинке, я вдруг понимаю, что прошло полдня и я смертельно устал.

Из опасения чересчур погрузиться во внутренний мир, забыв о внешнем, я включаю транзистор и слушаю новости. На радость тысячам экспертов и жаждущему высказаться населению, проводится новый опрос общественного мнения. Мелкие партии больше не удовлетворяются вылазками и начинают демарши. На дорогах севернее Варде гололед.

Я пишу очередную цепочку фраз о предпосылках Ютландского Права [*Ютландское Право — свод законов, изданный в 1241 году, утратил силу в 1683 году, но частично действовал на юге Ютландии до начала двадцатого века.*] — единственной в истории попытки проявить справедливость. Я пишу и пишу, бегу и бегу. Порядочный человек, всерьез считающий, что «людей жалко», не должен сидеть и писать. Неожиданно раздается звонок в дверь.

Может быть, это только отзвук давнего звонка. Звонок повторяется. День очень ясный. Но стаи черных дроздов то и дело затмевают свет за окном.

В дверной глазок я вижу светлую оправу очков с козырьком от солнца, который скрывает глаза. Очки приближаются к двери. Я поспешно открываю.

На госте синее габардиновое пальто с поясом, серые брюки с отворотами и мокасины. Он снимает очки и с улыбкой представляется:

— Т. Эльберг.

— Что значит «Т»? — спрашиваю я.

Человек смеется, но не очень весело.

— Теодор. Только я этим именем не пользуюсь, увольте. Добрый день. Вы, очевидно, адвокат Стеффен Гюнтер Карлсон? Разрешите войти?

— Может быть, вы сначала объясните, в чем дело?

— На это потребуется много времени. Так долго стоять на ногах утомительно.

Войдя в прихожую, он без приглашения снимает пальто и вешает на плечики. Потом идет в гостиную, оглядывается по сторонам и садится в плетеное кресло.

— Не угодно ли кофе?

— С удовольствием.

Рискнув оставить его одного, я выхожу в кухню. И лишь с готовым кофе возвращаюсь к своему гостю, который теперь стоит у окна и смотрит на улицу.

— Непривычное для вас положение, да, господин Карлсон? Гигантский скачок от виллы в семь-восемь комнат с огромным садом до этой комнатухи.

— У меня есть еще спальня.

Гость садится и следит за моими руками, пока я разливаю кофе. Я устраиваюсь по другую сторону низенького столика, готовый в случае необходимости быстро вскочить.

— Вы гостеприимны, господин Карлсон.

— Только не по отношению к старым друзьям.

— Да, это я слышал, — смеется он. — Я кое-что слышал о вас от разных людей. Вы меня интересуете.

— Что вам нужно?

— Я считал вас более сдержанным. Вы, кажется, чересчур нервничаете и, наверное, слишком мало едите и слишком много курите.

— Я сейчас курю всего три сигары в день. Послушайте, в то время, когда мне вменялось в обязанность защищать оступившихся людей, бывало, кто-нибудь угрожал разделаться со мной, когда выйдет из тюрьмы. Рано или поздно он выходил из тюрьмы, и как бы у него ни складывалась жизнь, я его больше не видел. Но я не исключал возможности, что кто-нибудь захочет свести со мной счеты.

— Я к вам с исключительно мирным намерением. Но знаете, я предпочел бы сначала по-доброму и не спеша познакомиться с вами поближе.

— Чем вы занимаетесь? Кто вы по профессии?

— Я занимаюсь рекламой, у меня есть небольшой антикварный магазин, и я вложил деньги в кинопроизводство. Я трачу свои капиталы и на искусство, и на то, что некоторые назвали бы подрывом общественных устоев.

— Последнее — вздор. Можно уничтожить цивилизацию, можно привести в упадок культуру, но общество подорвать нельзя. Общество постоянно растет. Еще чашечку кофе, и на этом закончим.

— Кофе больше не надо, но позвольте вам сказать, Карлсон, что ваше мнение крайне интересно.

— Теория, а не мнение. Когда человек проводит наедине с собой столько времени, как я сейчас, у него появляются теории. Но не мнения.

— Заранее радуюсь нашему предстоящему сотрудничеству.

— В чем?

— Не будем забегать вперед. Вы все еще против Общего рынка?

— С таким же успехом вы могли бы спросить меня, против ли я очередной видимой с земли кометы. Не трудитесь приходить еще раз, едва ли я вам открою.

Гость поднимается со стула.

— А та дверь? Это в вашу спальню?

Кивнув, я провожаю его в прихожую. На его лице выражение явного удовлетворения. Уходя, он слегка похлопывает меня по руке:

— Не забудьте поесть чего-нибудь, Карлсон. До свидания. Я дам знать о себе.

В винном погребе, где я несколько раз обедал, я спрашиваю кельнера:

— Что у вас сегодня?

— Шницель по-венски.

— Как и в прошлый раз?

— Как всегда. Шницель по-венски — это вроде нашего фирменного блюда, то есть единственное, что мы умеем готовить без хлопот для себя.

— Я возьму шницель и большую кружку пива.

— Пожалуйста. А старому кельнеру?

— И ему кружку пива. Как в прошлый раз.

С улицы меня не видно. Зато стоит мне чуть наклонить голову, и я вижу каждого входящего в погребок.

Мне следовало бы забрать из адвокатской конторы свою картотеку, когда я уходил оттуда, но между мной и моими компаньонами был молчаливый уговор не использовать картотеки в личных целях, даже если один из адвокатов выйдет из дела.

Кельнер подходит ко мне с кружкой.

— Благодарю, а вам приятного аппетита. Знаете, когда у нас здесь был бильярд, постоянно случались скандалы. Не самые примерные дети Господа Бога сюда заходили. Но теперь, к счастью, все наши гости порядочные люди, их пьяными не увидишь.

После обеда я не без опаски совершаю прогулку по Фредериксбергской аллее. Сзади от меня, метрах в десяти, идет мужчина.

Он остается ждать автобуса. Я иду дальше, чуть замедлив шаг.

Меня по-прежнему терзает страх. Старые деревья на аллее отбрасывают тени в два раза длиннее обычных. Не ступать на теневые пятна. Не ступать на трещины в тротуаре. Иначе потеряешь ногу и будешь несчастным. В долгой тишине вечности в страхе и тревоге кричит тетя Крошка: береги ногу! Доброта тети Крошки, не окончившаяся с ее смертью, выражается, с одной стороны, в разнообразных суевериях, а с другой — незнании двойственности человеческой натуры. Крошка чистосердечно верит, что доброе в добром, в злое в злом. Практичная, опытная и рациональная тетя Эрика лучше разбирается в людях. Гораздо вероятнее, что добро и зло существуют вперемешку. Например, холодным зимним днем в дверь кухни стучится безработный и просит хлеба. Хлеб ему дают, но выставляют есть на лестницу. Безмолвная мольба Крошки пригласить его в кухню выпить кофе не помогает. Тетя Эрика знает, что стоит голодному насытиться, как его начнет мучить зависть. Она не уходит с кухни, пока не слышит его шаги на лестнице. Мир восстановлен, хотя Стеффен боится, что безработный вернется и потребует что-нибудь еще сверх трех кусков хлеба, но тетя Эрика успокаивает: нет, если бы его пригласили войти, он подумал бы, что его боятся, и приходил бы снова и снова. Теперь он знает, с кем имеет дело. Кстати, несправедливо, что кто-то голодает, но эту несправедливость негоже исправлять людям вроде твоей тети Крошки.

Когда мальчик боялся, отец обычно первым пытался его утешить, но утешение всегда получалось жалким и неубедительным и только больше ослабляло мальчика. Тогда вмешивалась тетя Эрика и уже не утешала, а предостерегала, и таким образом наступало равновесие.

Итак — в общем и целом счастливое детство. Стеффен, мальчик, о котором идет речь, боялся темноты не больше, чем сын рабочего, и его тошнило в машине не больше, чем сына оптового торговца. За проступки наказывали до мучительного нелепо, чтобы он осознал бессмысленность проступка. Отец и две тетки заменяли Стеффену мать, и это было кстати, ибо мать, доминируя в вопросах воспитания, лишь ограждала бы мальчика от внешнего мира, и не более того. В доме все шло хорошо. Возвращаясь из путешествий, мать вносила некоторое беспокойство, но потом снова уезжала, и дни продолжали свое течение. Счастливое и спокойное детство. К взрослой жизни он был не подготовлен. И страх терзает по-прежнему.

## 6

— Знаете, я встал в восемь утра, самое подходящее время, побрился, позавтракал, выстирал рубашку, немного почитал Марка Твена и вдруг обнаружил, что прошло три часа. Куда девается время? Скажите мне.

— Я могу сказать лишь то, что ищачу в магазине и едва успеваю считать годы. Хотите что-нибудь к кофе?

— Нет, спасибо.

— Подумать только, взрослый человек вроде вас целое утро читает. А теперь вы сидите здесь, среди бела дня, и у вас нет никакой работы.

— Я усердно работал двадцать пять с лишним лет и каждый год зарабатывал больше, чем вы за всю жизнь.

— Я говорю не о деньгах, а о работе. — Алиса Йенсен сидит, вытянув ноги, и играет туфлями, которые болтаются на кончиках пальцев. — Скоро мне все это осточертеет. Люди озлобились из-за

забастовки типографских рабочих. Как будто я виновата, что они не получают своих любимых газет. А знаете, кто хуже всех? Те, кого я считала симпатичными и воспитанными людьми.

— Кто, например?

— Например, Йосефсен. Он вам знаком? Архитектор.

— Он конструктор и ненавидит всех и вся за то, что не стал архитектором. Но разумеется, он называет себя архитектором, потому что он сноб, как и многие другие. Не принимайте его близко к сердцу, фру Йенсен. Или фру Алиса.

— Карлсон, мой отец работал сварщиком в сорокаградусной жаре на верфях Бурмейстера и Вайна, а мать портила себе зрение шитьем для старой карги, которая перепродавала вещи и здорово на этом наживалась. Под конец мать уже не могла пошевелить пальцем из-за отложения солей.

— Поэтому вам бы следовало быть социалисткой. А вы кто? Вы консервативны, а ваш брат — бледный красавец из Армии Спасения. Значит, вы сами виноваты в том, что до сих пор женщинам приходится шить для других за мизерную плату.

— Болтать вы горазды. А вы-то сами что делаете?

— Ах, что я делаю? Между нами говоря, я истратил больше половины своих денег на борьбу с крупным капиталом. Но я знаю: это, конечно, еще не делает меня социалистом, а люди, которым я помогал, не гнушались моими незаконно приобретенными деньгами.

— Знаете, вы просто ненормальный. А что вы будете делать в старости?

— Если честно, не думал об этом и вообще надеюсь до глубокой старости не дожить. По-моему, нельзя навязывать молодым мысли о старости. Ну ладно, до этого еще далеко. Будем пить кофе и любоваться вязом за окном. Будем жить сегодняшним днем.

Алиса Йенсен показывает мне новый журнал и спрашивает, слышал ли я о нем. Я рассеянно просматриваю его и, не прочитав пока еще ни слова, уже улавливаю душок антидемократической кампании, которая начала расти в правом крыле и постепенно приближается к центру, колеблющемуся центру политической жизни страны. Люди, отказывающиеся платить налоги, агрессивно настроенные крупные землевладельцы, хозяева мелких нерентабельных предприятий и неудачливые карьеристы собираются на великую черную мессу, где, как гласит заголовок, они расправятся со всеми, кто не желает работать и сочувствует коммунистам. Считается, что этих сочувствующих три четверти миллиона, хотя большинство, конечно, маскируется под кого угодно.

— Выбросьте к черту эту дрянь, фру Алиса.

— Уже многие мои покупатели спрашивали этот журнал. Некоторые в эдаких угрожающих тонах, и был даже один анонимный телефонный звонок. Звонил мужчина и сказал, что я потеряю треть покупателей, если не начну продавать этот журнал. Не знаю, что делать.

— Печально. У богачей наступила духовная нищета. Думали ли вы, что мы так низко падём? В нашем самом развитом и самом гуманном обществе на земле? Выкиньте из головы этот грязный журнал.

— Легко вам говорить. И кто знает, может, доля правды в нем все-таки есть.

— Не верьте тому, что говорят и пишут, фру Йенсен. Особенно тем, кто обещает оздоровить страну за пятьдесят дней. Это мошенники.

— Может быть, я скоро соглашусь вступить в Армию Спасения. Эрнст, мой брат, бригадир в Армии Спасения. Он мечтает и меня принять в ряды.

— В ряды? Ну, это не сулит ничего хорошего.

— Но ведь человек должен во что-нибудь верить, без этого нельзя.

— А разве правильно, если он ищет себе веру, как товар на рынке, только потому, что «без этого нельзя»?

— Вы придете как-нибудь вечером ко мне в гости, Карлсон? Я хочу сказать... Здесь нам все время мешают.

— По правде говоря, я слишком постарел и поумнел, чтобы проводить ночи с женщиной просто ради удовольствия.

— Я от вас этого не ожидала.

— Говорю то, что думаю.

— Напрасно. Надо щадить чужие чувства. Кто сказал, что мы с вами должны лечь в постель?

— Я говорю. Вы так на меня действуете, Алиса. Мне очень нравится ваш большой рот, мне нравятся ваши движения, мне нравятся ваши длинные ноги, а больше всего мне нравится ваш голос. Вы растягиваете слова и говорите немного вяло. Часто вы даже фразы до конца не договариваете. Это

очаровательно. Нет, уж давайте ограничимся встречами за чашкой кофе. Здесь мы хозяева положения. А после постели, фру Алиса, мы наверняка уже не сможем так мирно и расслабленно сидеть здесь, в задней комнате магазинчика, и вы начнете упрекать меня, что я живу не так, как другие, и прочее. И не успеем мы оглянуться, как уже будем жить вместе, точь-в-точь как все. Стоит ли? Скажите честно.

Появляется покупатель. Алиса Йенсен идет к прилавку. Я слышу, как мальчик просит пачку карамелек.

Вернувшись, Алиса молчит и не предлагает больше кофе. Когда снова приходят покупатели, я выхожу через заднюю дверь.

Сопение морской свинки еще больше подчеркивает тишину в квартире. Мне кажется, что я слишком долго не был дома.

Я сажусь за пишущую машинку.

Делаю опечатку за опечаткой.

Выскакивает лента. Дрожащими пальцами пытаюсь поставить ее на место.

Надо как-нибудь пригласить Алису Йенсен в ресторан.

Рву в клочки все, что написал за полгода про общескандинавскую правовую систему, и прикидываю, не лучше ли написать про огромную благотворительную деятельность монастырей, совершенно недооцененную в наши дни. Кто сегодня вспоминает о тысячах безымянных серых монахов, которые помогали прокаженным и бездомным?

В голове у меня возникает образ францисканского монаха XIII века. Я нарекаю его братом Юстусом и подзываю поближе. Хлеб, который ему подали, он отдает голодному. Он говорит: если я сознательно творю добро, я самодоволен и должен понести наказание. Я не должен знать, что творю добро. Если я это знаю, я грешен.

## 7

Из передачи утренних новостей я узнаю о скоропостижной смерти большого друга всего мира Пабло Пикассо. Я застываю с пакетиком сливок в руке.

Я еще не привык управляться с этими картонными пирамидками, проливаю сливки и никак не могу осознать, что Пикассо умер. Но Чарли Чаплин, самый известный человек на земле, в этот апрельский день 1973 года еще жив.

Пикассо умер юным, хоть и скрывался в оболочке старика; он исчез, как луч голубого света в пространстве.

Я уже далеко не юн, но до сих пор не разобрался, какая сила шаг за шагом движет человечество вперед и в то же время толкает отдельного человека в противоположном направлении.

В этот день выхожу только один раз. Внизу встречаю дворничиху, она спрашивает, не хочу ли я поставить телефон. Ей кажется странным, что образованному человеку с чистой совестью не нужен телефон. Я начинаю нервничать и спешу подняться к себе. Вообще-то я собирался выйти на улицу.

На следующий день, или через день, иду по Фредериксбергскому парку. Вот-вот парк закроют, и в эти последние пятнадцать минут на всем лежит особая печать таинственности, забытого и ожидаемого вперемешку, чего-то эфемерного, что незримо присутствует где-то поблизости. Старина Стеффен, бранный мечтатель, ты идешь, опираясь на инкрустированную серебром трость дедушки Карлсона, трость, которую старик купил в лавочке на Виммельскафтет, когда получил свидетельство подмастерья. Сюда, в этот отдаленный уголок парка, доносится из зоосада рев морских львов, неизменно настроенных благодушно.

Эльберг ждет меня за столиком у окна. Он говорит, что всегда предпочитает сидеть у окна. Здесь есть необходимый обзор в любой непредвиденной ситуации. Я смотрю на Эльберга и долю секунды вижу его в какой-то точке своего прошлого. Человек, взглянувший на меня в окно автомобиля? Человек, когда-то поднявший портфель, который я уронил, поднимаясь по лестнице в здании суда?

Ресторан заполнен исключительно мужчинами. Широкоплечие мужчины с бычьими шеями, с золотым блеском зубов, с массивными перстнями на пальцах. Над столиками витает легкий запах лосьона, которым пользуются вечно спешащие дельцы.

— Почему вы с палкой, Карлсон? Вам трудно ходить?

Я качаю головой.

Официант приносит бутылку белого вина и разливает его в высокие зеленые бокалы. Потом



нам подают ростбиф с картофельным салатом. Эльберг спрашивает, устраивает ли меня такой ужин. Кивнув, я приступаю к еде. Я стараюсь не смотреть на рот моего собеседника. Из пульта управления в плече я командую правой рукой, чтобы не уронить вилку. Надо следить за собой: я уже почти забыл древний обычай принимать пищу в обществе.

После того как мы молча съели половину ростбифа, Эльберг говорит: все, что касается меня, он разузнал. Полученные сведения подтверждают его мнение обо мне как о человеке уравновешенном и умном.

На улице остановился серый автомобиль с двумя мужчинами. Но из машины они не выходят.

Эльберг добавляет, что после визита ко мне он несколько обеспокоился. Ему показалось, будто я чересчур поглощен мелочами и утратил интерес к тому, что раньше было для меня столь важно: Скандинавия, готовая воссоединиться с Европой.

Серый автомобиль едет дальше.

В частности, Эльберг беседовал с моим племянником Рольфом. Я громко смеюсь. Эльберг с удивлением смотрит на меня и говорит, что Рольф отзывался обо мне весьма положительно. Я отвечаю, что в таком случае Рольф сознательно стремился сбить собеседника с толку.

У Лили был период, когда она хотела взять от жизни все удовольствия любой ценой — даже ценой собственной нравственности. Однажды поздно вечером я вернулся домой из деловой поездки на два дня раньше срока и застал ее танцующей на паркетном полу в гостиной в компании обнаженной, как и она, подружки по имени Биби и моего, в то время двадцатидвухлетнего, племянника, который, увидев меня в дверях, поспешно завернулся в мою купальную простыню. Несмотря на рьяные уговоры Лили, я отказался участвовать в оргии и вместо того угостил всех крепкими напитками. Через полчаса мне удалось уложить их спать, одного за другим. Наутро я позвонил мужу Биби и попросил забрать ее. Рольфа выставил за дверь и запретил появляться в моем доме. Лили наслаждалась тем, что я хоть раз вел себя как настоящий мужчина (ее выражение), однако покинула меня на целую неделю, а когда вернулась, все пошло по-старому. Я пересказываю этот эпизод Эльбергу во всех подробностях. Он со смущенной улыбкой говорит, что все мы в свое время пробовали что-нибудь в этом роде.

Эльберг высказывает предположение, что я рассматриваю свое состояние как бегство. Я возражаю: человек в состоянии бегства постоянно оглядывается назад и заново оценивает прошлое.

По Эльбергу не заметно, что он раздражен, тем не менее это так, и меня это устраивает. Он то и дело поглядывает на часы.

Мы остались одни в ресторане. В вечернем свете на тротуаре не видно прохожих. Мимо проезжает патрульная полицейская машина. Я уверен, что встречал Эльберга раньше. Он допивает остатки белого вина, вытирает салфеткой рот и поправляет галстук. Я смотрю на его раздвоенный подбородок.

Я требую немедленно объяснить, в чем дело. Сейчас же.

Он предлагает мне «Флора Даника»:

— Ваши любимые сигары, если не ошибаюсь?

Я отказываюсь.

Сзади тактично покашливает официант.

Итак: Эльберг предлагает мне войти в редколлегию новообразованного журнала, получившего название «Ревю Норд». Журнал широкого профиля: искусство, экономика, торговля, архитектура и прочее. Уже созданы редакции в Стокгольме, Копенгагене, Гамбурге и Амстердаме. «Ревю Норд» будет бороться за усиление североευропейской фракции в Общем рынке. Эльберг вновь перечисляет названия, словно сказочных, городов: Стокгольм, Копенгаген, Гамбург, Амстердам. Четыре бессмертных города, населенных свободными людьми, людьми севера.

Я говорю, что цель журнала кажется мне столь же узкой, сколь и цели Общего рынка. Мир за пределами Европы изо дня в день развивается гигантскими темпами, а Западная Европа лишь стареет, богатеет, слабеет и постепенно утрачивает свое значение. Ренессанс был кульминацией. Теперь все идет по нисходящей. Эта проблема меня не интересует.

Эльберг просит еще раз обдумать предложение.

Я говорю, что думать не о чем.

Эльберг дает мне неделю на размышление. Выражает надежду, что мой ответ будет положительным.

Жмем руки. Он расплачивается с официантом, улыбается на прощание и уходит. Рука у него

удивительно теплая и влажная. И я понимаю, что он крепкий орешек, с таким трудно вести переговоры.

Его дожидается светлый «вольво».

Только теперь я замечаю, что у меня дрожат колени и я вспотел больше обычного. Я беру трость дедушки Карлсона и выхожу из ресторана.

## 8

— Итак, пранаяма: зажмите большим пальцем правой руки правую ноздрю и вдыхайте всем животом.

— В Пакистане сильные наводнения. Как же там спасают людей?

— Вдыхайте всем животом.

В глазах начинает рябить. Тело учительницы йоги похоже на темное дерево, которое не могут повалить никакие ветры. Я пытаюсь принять позу лотоса, но ноги меня не слушаются. В глазах рябит, все плывет кругами, я распадаюсь на куски, превращаюсь в множество людей, красных и желтых, которые пытаются поднять на ноги огромное чудище, но река выходит из глинистых берегов и неудержимым потоком разливается по полям и дорогам.

— Вам плохо?

Слова доносятся из глубины склонившегося надо мной темного дерева, и я в страхе что-то кричу, и от страха ноги снова начинают мне служить. Я ползаю по коврику, пытаюсь подняться.

— Я спрашиваю — вам плохо?

— Мне надо домой.

— Не поддавайтесь. Забудьте прошлое. Думайте о том, что за полгода вы очиститесь от всех токов, которые движутся в вас в неверном направлении.

— Надоело мне все это.

— А как же ваши успехи? Неужели вы хотите вернуться к старой жизни без смысла и сил?

— А как же жертвы в Пакистане? Чем им помочь?

— Вы не можете никому помочь, пока сами не станете чистым и сильным. Вам предстоит еще долгий путь.

— Больше вы меня не увидите. Это точно.

Я медленно спускаюсь по лестнице, одна нога осторожно нащупывает ступеньку за ступенькой, другая выжидает. Я спокоен и признаю свое поражение. Мне приятно, что я сдался и позволил себе слабость.

Я машу рукой проходящему такси. Шофер явно недоволен, что приходится везти велосипед. Я обещаю ему пятерку сверх счетчика. Он улыбается и заводит разговор о политике.

Из магазинчика Алисы Йенсен я по телефону отменяю семинар для будущих ревизоров.

— Вечером я иду на собрание Армии Спасения. Хотите пойти со мной, Карлсон?

— Нет, спасибо. Я не умею ни петь, ни играть.

— Правда, хорошо, что кончилась забастовка? Слава Богу, люди снова стали улыбаться.

— Конечно, хорошо.

— Почему вы не хотите пойти со мной вечером? Мой брат Эрнст жаждет с вами познакомиться.

— Я не могу. Не выношу скопления людей.

— Не постоите ли часок за прилавком? Способны вы оказать мне такую большую услугу, не возомнив себя святым? Мне нужно в парикмахерскую на углу, уложить волосы к вечеру.

Алиса Йенсен надевает длинное коричневое бархатное пальто и уходит. С тротуара она машет мне.

Один из постоянных покупателей Алисы, адвокат, с удивлением смотрит на меня, поспешно платит за полупорнографический журнал и покидает магазин. Усевшись в машину, он искоса поглядывает на меня, и я машу ему рукой.

Вернувшейся с потрясающим сооружением на голове Алисе Йенсен я не без гордости сообщаю, что продал тринадцать газет, восемнадцать еженедельников, две открытки с марками и три пачки карамелек.

— Довольны, Карлсон? Подумайте, сегодня вы принесли пользу.

— Вы слишком элегантны. Право же, вы мне больше нравитесь, когда у вас волосы чуть-чуть

в беспорядке.

— Удивительный народ мужчины. Такое запросто мог бы сказать и мой муж Йон. Я ведь вам рассказывала, что была замужем? Мы с Йоном были женаты двенадцать лет; он погиб в автомобильной катастрофе.

— И дети у вас есть? Простите за любопытство.

— Дочь, Лизе. Ей двадцать лет, и у нее есть дружок. Она приходит только помыться в моей ванне.

— Кажется, вы это уже рассказывали.

— Могли бы прервать меня, черт возьми.

— Вам совершенно необходимо последить за выражениями, готовясь к завтрашнему вечеру.

— Уж поверьте мне, когда нужно, я умею быть красивой, вежливой и воспитанной.

— Меня бесит, когда вы так разговариваете. До свиданья.

— Спасибо за помощь, Карлсон, и навестите меня как-нибудь вечером, когда будет свободная минутка. А можно встретиться в прачечной-автомате, хотите?

— Почему бы и нет?

— Я собираюсь в прачечную завтра вечером, приходите, если будет время, и захватите грязное белье, если у вас есть.

— И тогда наше белье перемешается.

— Чепуха. Заехать за вами? У меня машина.

— Не нужно. У меня мало вещей, я и сам донесу.

— Боитесь, что я увижу, как вы живете.

— У вас свои женские предрассудки, не так ли, фру Йенсен? Вы считаете, что одинокие мужчины живут в хаосе. Мало же вы знаете мужчин. Почему вы не продаете коммунистическую газету? Один покупатель ее спрашивал.

— Я не могу рисковать.

Дворник с женой ждут меня в парадном. Они утверждают, что, уходя из дому, я забыл запереть входную дверь. Это недопустимо, говорит дворник. Жена смотрит ему в рот. Я прошу извинения за свою оплошность. В следующий раз они доложат хозяину, говорит дворничиха. Новые жильцы тоже должны соблюдать добрые порядки дома.

Я не могу печатать на машинке, потому что у меня трясутся руки.

У меня еще есть немного писчей бумаги, купленной в магазинчике, и желтая бумага для черновиков, оставшаяся с давних времен. Есть карандаш. И я намерен оберегать свой покой.

Теория по поводу Эльберга: этот тип что-то против меня имеет. Но что? Я прочесал свою жизнь вдоль и поперек и не обнаружил ничего компрометирующего. Как адвокат, я всегда придерживался закона, что не так уж трудно, ибо закон достаточно гибок и эластичен, что необходимо для быстро растущей экономики.

Прошлым летом я три дня укрывал наркоманку. Ее разыскивала полиция по обвинению в ограблении аптеки. В конце концов я вынудил ее пойти с повинной. Она твердила одну фразу: «У гнилого дерева сладкие плоды». Больше она ничего не говорила. Я отвез ее в полицейский участок и распрощался, а она все повторяла про дерево и плоды.

Другая теория насчет Эльберга: проект «Ревю Норд» призван «прикрывать» попытку какого-нибудь большого концерна сжить со света конкурентов. Простейшее объяснение. Европейский капитал против японского или американского. Чем более жесткие меры применяют сильные мира сего, тем красивее и «культурнее» должен быть фасад.

Третья теория: меня все еще считают опасным противником всяких европейских сообществ, и Эльбергу поручено меня утихомирить. Великое дело до сих пор покоится на шаткой основе, поэтому надо как можно скорее обезвредить врагов.

Может быть, верна первая теория. Эльберг рассчитывает загнать меня в угол с помощью какой-нибудь старой истории и выжать из меня деньги. Я надеюсь, что эта теория соответствует действительности. В остальных трудно предвидеть следующий шаг. Шантаж — это нечто рациональное, ему можно противостоять рациональными методами.

Я спускаюсь в будку телефона-автомата и звоню Алисе Йенсен — сказать, что все же пойду вечером на собрание Армии Спасения. У нее занято. Прогулявшись я снова звоню. На сей раз никто не отвечает, и я возвращаюсь к себе.

Я пью чай с ромом и слушаю кантату Баха «Ich hatte viel Bekümmernis» [*«Я много горя пережил»*]

(нем.)). Нет ничего лучше барочной музыки. В нее или погружаешься целиком, или остаешься вне. Никогда не слушаешь вполуха.

Позже я вспоминаю, что сегодня день рождения Лили. День рождения: Лили в белом органди с рюшами по обе стороны глубокого выреза и с бантами на талии, лоб туго стягивает лента с розой, легкие складки до пят. Гости обступили Лили и, точно попугаи, на разные голоса восхищаются моделью парижской фирмы «Ланвэн». Дамские головы над обнаженными ключицами одобрительно кивают. Толстые мужчины в смокингах стоят за спиной дам и заглядывают Лили в вырез. Эти туши насытились за ужином и выпили двадцать бутылок красного вина, десять белого и десять портвейна. Запили шампанским. Самый дорогой прием в моей жизни. Праздник продолжается восемь часов и стоит десять крон в минуту, не считая гонорара приглашенному для развлечения фокуснику. Я сижу и наблюдаю за всем. С высоты сегодняшнего дня вижу брэнность, казалось бы, самых надежных и прочных кирпичиков общества: посредников по продаже недвижимого имущества, биржевых маклеров, адвокатов, гражданских инженеров, землемеров, представителей кредитных фирм. Этой компании далеко до развращенной буржуазии из фильмов Бунюэля. Просто кучка земельных спекулянтов и их советников, которые стараниями расторопных портных умеют принимать некоторое количество не слишком сложных поз, требуемых в обществе.

Лили подносит к губам бокал, и никто не замечает, как ее лицо вмиг стареет. Глаза мутнеют. Кожа на руке, которая мне видна, съеживается, пальцы напоминают птичьи когти. Лили что-то кричит мне, и видение пропадает. Я обнаруживаю трещинку на обоях. Подняв руку, я вижу ее тень на стене. Странно, что я раньше не замечал этой трещины.

Я записываю: «Прошлое бесполезно, но не напрасно» — и с таким избитым клише ложусь в постель и не могу заснуть до рассвета.

Мне снится навязчивый сон: босоногий монах Юстус в неизменном грубом сером одеянии выходит из какого-то монастырского помещения, при котором нет ни земельного участка, ни сада с душистыми цветами. Ноги Юстуса обжигает тронутая морозом земля. Монах не видит синих утренних теней от зимних деревьев. С кружкой он отправляется просить подаяние. За ним плетется тощая собака. Юстус постоянно боится царящей в нем тьмы. Боится высокомерия, боится усомниться в добрых намерениях Бога. Разница между Юстусом там и мной здесь такова: он боится того, что кроется в нем самом. Я боюсь только других людей.

Он охотно раздает собранную милостыню бедным, которые вечно возникают у него на пути, а собака? Что он дает ей? Этого я не знаю. Сон прерывается.

Опять утро, и в зеркале я вижу пожилого мужчину, который ночью имел противозаконные сношения с мертвыми и умирающими.

Пишу, пишу, пишу. День идет на убыль.

В прачечной-автомате я показываю свои записки Алисе Йенсен. Мы сидим и ждем, поглядывая, как в барабане крутится белье.

— И на это вы потратили целый день?

— Да, целый день и полжизни.

— Как-как?

— Вы меня слышали.

— А кто такой Эльберг?

— Если б я знал! Но я совершенно не разбираюсь в людях. Возможно, он что-то обо мне знает и хочет использовать.

— Что это может быть, по-вашему?

— Трудно сказать, не знаю. А как прошло вчера собрание? Вы вступили в ряды?

— Нет. Просто наблюдала.

— Это самое безопасное.

— Когда мы закладывали белье, вы меня о чем-то спросили. О чем, Карлсон? Я не расслышала.

— Просто предложил в какой-нибудь погожий день прогуляться в Королевском саду.

— С удовольствием. Как насчет четверга? В четверг у меня есть замена в магазине.

— Прекрасно, пусть будет четверг. Только бы погода не подвела.

— Моя подруга Китти присмотрит за магазином. Зайдите за мной. И Китти поглядит на вас, Карлсон. Я ей про вас рассказывала.

— Значит, в четверг. Если будет хорошая погода.

— Непременно будет хорошая.

— Часа на два. У меня в четверг есть и другие дела, кроме прогулок в Королевском саду.

— Не сомневаюсь. Знаете что? Я очень рада.

Когда мы расстанемся у прачечной, Алиса предлагает, если прогулка в Королевском саду пройдет успешно, так она выразилась, как-нибудь в воскресенье прокатиться в ее «Моррис Маскоте» на мыс Куллен, я поспешно говорю «да», прощаюсь и иду домой.

Вдруг я останавливаюсь: Куллен... Куллен... в моей памяти что-то всплывает. Я иду дальше.

Я складываю чистое белье в шкаф, сажусь за пишущую машинку и жду.

Ну конечно же, Куллен. Я пишу. Несколько экзальтированно смеюсь вслух, и морская свинка в ящике волнуется. Продолжая смеяться, я говорю:

— Копию господину Эльбергу.

Лето 1968 года. Мы с Лили проводим две недели отпуска в Мелле, сняв там дачу. Лили скучает, звонит своему брату Карлу и его жене Соне, и через три часа они приезжают (может быть, эта троица заранее сговорилась?). Они остаются на четыре дня и всю веселятся за наш счет. Я каждый день гуляю один по горе Кулаберг, оставив дома дурацкий фотоаппарат, купаюсь и отдыхаю на прибрежных камнях.

В одном из гротов прыгает с камня на камень девочка. Она не видит меня, пока длинный прыжок не заносит ее на край утеса, где я уже давно стою. Она заговаривает со мной и рассказывает разные подробности про птиц на Кулаберге. Девочке хорошо известны даже птицы, прилетающие с берегов Атлантики. Ей лет четырнадцать, а может, пятнадцать или всего тринадцать. Воспринимаю я ее как ребенка, но беседую как со взрослой. Я словно знаком с ней тысячу лет и чувствую себя совершенно свободно. Мы встречаемся четыре дня подряд. На пятый мне приходит в голову взять с собой фотоаппарат. В этот день она не появляется, и больше я ее не встречаю. Следующие дни я рыскаю по всему Кулабергу и изучаю гроты. И вот в один прекрасный день мне звонит некий директор Йеспersen и в довольно резких тонах просит зайти. Он тоже снимает дом в Мелле. Я незамедлительно иду к нему. Он обвиняет меня в том, что я пытался совратить его несовершеннолетнюю дочь. Я отрицаю это, он готов наброситься на меня с кулаками, но вошедшая жена успокаивает его. Они ополчаются против меня вдвоем. Дело очень серьезное, внушают они мне. Я спрашиваю, действительно ли их дочь утверждает, что я ее хоть пальцем тронул. Они отказываются отвечать. Разговор заканчивают угрозой, что я еще о них услышу. Собираясь уходить, я спрашиваю Йесперсена, откуда он знает, кто я такой. Он отвечает, что одно знает наверняка, а именно: если он обратится в полицию, эта история будет мне стоить карьеры.

Глубоко потрясенный, я иду домой и как последний идиот посвящаю в случившееся Лили, Карла и Соню. Они готовы поверить моему рассказу, но все же советуют еще раз поговорить с директором Йеспersenом и убедить его в моей невиновности. Я отвечаю, немного устало, что если буду клясться в невиновности, то начну сам в ней сомневаться, начну думать о девочке как о забавном чертенке, и это все испортит, потому что я хочу помнить ее как нечто первозданное... нечто существующее само по себе, не имеющее продолжения ни в какой форме.

Они смеются надо мной и называют ненормальным. Карл убеждает меня сделать все возможное, чтобы не допустить крушения карьеры, но я отказываюсь что-либо предпринимать в этом деле. Я так и говорю: в этом деле. И дело забывается, и мы уезжаем из Мелле. Чета Йеспersenов больше не дает о себе знать, и их дочери я больше не вижу. Под конец я воображаю, что она и существовала-то лишь в моей фантазии.

Год спустя Карл припомнил этот эпизод, легонько похлопал меня по плечу, с хитрой ухмылочкой пройдясь насчет старых сатиров, которые подстерегают в шхерах купающихся девочек. Я промолчал. Все снова забылось.

Нет, стало быть, не забылось. Вот они и вернулись, те дни, когда мы карабкались по скалам, говорили о птицах и трогали темные влажные стены гротов.

К моему удивлению, одна из наших прогулок неожиданно оборвалась на ее вопросе: может ли человек жить хорошо, если он хочет быть совсем один? Не успел я ответить, как она со всех ног побежала к дорожке, ведущей из грота.

Все четыре дня мы возвращались в Мелле порознь.

Хватит на сегодня. Пора кормить морскую свинку.

Надо попытаться выяснить, кто такой Эльберг.

— Теперь стало чуть легче идти вместе, правда? Раньше один шел на полшага впереди, а другому — то есть вам — все время приходилось приплясывать рядом, чтобы не отставать.

Алиса смеется:

— А-а-а, как вы любите без надобности все усложнять. Но до чего же приятно получить свободных полдня.

— Наверное. Послушайте, я пятнадцать лет знал одного человека только сидящим на всяких собраниях и заседаниях, но однажды нам случилось вместе пройти по улице. Должен сказать, нас обоих очень смутила эта ситуация.

— И вашего спутника тоже смутила?

— Конечно.

— Что-то не верится.

Мы прогуливаемся по Королевскому саду. Я рассказываю Алисе, что раньше здесь большей частью ходили няньки с копенгагенскими младенцами в колясках, держась в основном дорожек вдоль учебного плаца. Я ясно помню, как эти няньки в легких темно-синих пальто с капюшонами ворковали над младенцами в колясках, внушая себе, будто это их сестренки или братишки, иначе им была бы невыносима эта пытка.

— Как много вы знаете, Карлсон.

— Это верно.

Мы пьем кофе с рулетом в ресторане. Алиса восхищена, что там сидят известные актеры с совершенно неизвестными дамами.

— Вам это кажется забавным?

— А-а-а! Еще бы!

— Послушайте, Алиса, зачем вы постоянно говорите «а-а-а»? Простите за грубость, но так говорят дети, когда просят на горшок.

— Я что-нибудь еще говорю неправильно, раз уж об этом зашла речь?

— Да, произношение у вас не лучшее. Откуда вы родом?

— Воображаете себя школьным учителем? Из Хадсунда.

— Понятно. Жаль, не имею средств угостить вас коньяком.

— Неважно. Карлсон, на что вы, собственно, живете?

— Веду семинары, пока не выгнали, а кроме того, рента с нескольких частных закладных. Вот и все.

— Почему вы не найдете постоянную работу?

— А зачем?

— Ну ладно, это меня не касается.

— Вот именно.

— Знаете, когда у человека иногда выдается свободный день, хочется все вместить в него. Говоришь сама себе: надо радоваться тому, и сему, и этому, но все это просто невозможно втиснуть в один день. Верно я говорю?

— Верно. Позвольте же и мне высказать свои наблюдения: мой отец когда-то рассказывал, что в детстве я был лунатиком. Я ходил по комнатам с открытыми глазами и спал, но потом оказалось, что во время своих сомнамбулических прогулок я все же кое-что замечал. То есть такое, чего не мог заметить днем.

— Ну и что? К чему вы ведете?

— Действительно, к чему я веду? Дайте подумать. Ах, да, я веду к тому, что бодрствующее сознание довольно сильно нам мешает, когда мы хотим понять или заметить сразу много вещей. Голова идет кругом, правда? Вот как мы с вами. Вы говорите: хочу радоваться тому, и сему, и этому, и под конец уже ничему не радуется. Может быть, лучше, когда сознание работает вполсилы, например во сне. Больше мне нечего сказать. Я не привык так много говорить. Пойдемте дальше. Вдруг мы не успели еще порадоваться какой-нибудь кучке деревьев.

Мы любимся фонтаном в центре Сада, и Алиса рассказывает, что ее дочь недавно нашла номер «Иллюстрированного еженедельника» двадцатилетней давности, где, в частности, есть фотография некоего адвоката Карлсона на торжествах в ложе Тайного Братства. Он не то поднимается на трибуну, не то спускается с нее. Адвокат в смокинге. Празднично одетые гости аплодируют.

— Не напоминайте мне об этой дребедени. Лучше наслаждайтесь природой в центре города. Милый старый Сад, сколько с ним связано воспоминаний!

— Почему вы всегда дурачитесь?

— Потому что я рад, а когда я рад, я всегда дурачусь.

Я показываю ей на дворец Росенборг: он высится, словно декорация в заключительной сцене водевиля, и пытается выглядеть настоящим. Как будто хочет убедить нас, что за его стенами разыгрываются важные события.

— А это не так?

— Думаю, нет. События далекого прошлого, которые мы называем важными и значительными, вовсе не были таковыми, когда происходили в действительности. Был просто обмен словами или другими привычными знаками, например кивком головы, рукопожатием. Потом очевидцы переистолковывали их и возникали мифы.

— Об этом я не могу судить.

— Я еще не кончил, но вам, наверное, скучно...

— Что вы, мне нравится вас слушать.

— Может быть, так называемые исторические личности на деле и не существовали. Только в нашем воображении они оживают и становятся такими, как нам хотелось бы. Мы отводим им роли, которые они разыгрывают в угоду нашим так называемым историческим познаниям.

— А-а-а, Карлсон, остановитесь. Иначе, боюсь, мне скоро-таки станет скучно.

— Попробуйте уловить ход моих мыслей.

— Вы разговаривали на такие темы с вашей бывшей женой?

— Разумеется.

— Почему же вы не остались с ней?

— Ну и вопрос! Я знаю, что чересчур разболтался, но зато я ведь ни о чем не спрашиваю.

— Вы обратили внимание на мою подругу, когда заходили за мной в магазин?

— Обратил. Сказать по правде, этого нельзя было избежать.

— Что вы о ней думаете?

— Говоря прямо и грубо, ей недостает вашего чудесного тягучего голоса, привезенного из Хадсунда.

— Китти успела мне шепнуть, что вы красивы, но чересчур изображаете смиренность.

— А она не дурочка, ваша подружка.

Мы поднимаемся на Круглую башню. У меня кружится голова, и я цепляюсь за Алису. Она смеется: наконец-то она уличила меня в слабости. Глядя вниз на Кебмагергаде, она говорит, что охотно послушает еще о прошлом, которого не было, но я беру назад все сказанное ранее. Во всяком случае, пока. Я чувствую тепло ее тела, когда мы касаемся друг друга.

В такси по дороге домой мы молчим.

Перед пишущей машинкой — прошел день. Хороший день сам по себе, так что писать не о чем.

## 10

Дом белый. В этом я уверен. Иногда он стоит среди болотистых низин, иногда у подножия холма. Цвет крыши меняется в зависимости от освещения. То она темно-зеленая, то иссиня-черная. Сад отделен от дороги тополиной аллеей, в неподвижной жаре листья отсвечивают серебром. Над землей стелется легкая дымка. В доме три или четыре окна. Изредка в дверях появляется женщина. Она медленно открывает глаза, словно преодолевая сопротивление воздуха и света, потом, еле переставляя ноги, будто от истощения, идет к мусорному баку и роется в нем, что-то ищет.

Я бы узнал этот белый дом, где бы он ни находился. Он снился мне раз десять. Чаще всего я видел его из окна автобуса и пытался крикнуть шоферу, что мне нужно выйти и кое о чем спросить женщину, но он не слышал, а я не смел подняться и подойти к нему, боясь увидеть его лицо.

Сон и сегодняшней ночью привел меня туда, и я долго сижу, в смятении глядя на свои пожитки.

Сегодня годовщина смерти отца. В кармане у меня хоть шаром покати, но я наскребаю на билет до Хельсингера, а оттуда еду на такси до Ньюруп Хегн и без труда нахожу место, где отец выстрелил себе в висок. Его обнаружил лесоруб. На губах и на шее отца запеклась кровь, но ни один

лесной зверь не тронул его лица. Подумать только, у этого мирного человека был револьвер, который сослужил ему такую службу.

Я смотрю на буквы и даты, которые когда-то вырезал на дереве: С. К. 1890 — 1949. Подобно каждому второму человеку, Стеен Карлсон прожил жизнь, ничем не выделившись. Никто не помнит его жизненный путь целиком — от рождения до смерти. Вспоминаются отдельные случайно сказанные им слова, но они ничего не подсказывают идущему по его следам. Я помню, как отец выглядел, но понятия не имею, что за человек он был.

Его рождение, как всякое рождение, было чудом. Потом он жил в устойчивом равновесии между разрушением и созиданием и умер смертью, столь же тихой и значительной, как любая смерть. Жизненная энергия освободилась от брэнной плоти и направилась по новому пути в стремлении к совершенству. Обратно к станции Снеккерстен я иду пешком.

Он мимоходом упомянул о причине своего поступка в последнем письме, которое я получил от него, когда лежал со сломанной ногой в захолустной больнице. Он писал, что восемь лет встречался с замужней женщиной. Когда она с супругом и двумя сыновьями уехала в Америку, жизнь для моего отца потеряла смысл. Во всяком случае, так ему представлялось. Я лежал с ногой в гипсе и читал письмо, полученное словно от приятеля. Мне казалось бесстыдством, что отец выступает с такими признаниями, меня злило, что разумный человек распустил нюни из-за мелочи.

Очень скоро я пришел к убеждению, что отец просто хотел дать нам, оставшимся в живых, некое приемлемое объяснение. Он знал, как станет рассуждать тетя Эрика: человек не накладывает на себя руки без серьезной на то причины.

А у отца — думаю я сегодня — было много причин для своего поступка. Недостижимая женщина, Кэте Бернтсен, была только одной и, может быть, самой удобной для него.

Я выхожу на Главном вокзале, выпиваю кружку пива в толпе рабочих-иммигрантов и наслаждаюсь атмосферой разлуки, вечно царящей здесь.

Жизнь идет своим чередом. Постепенно я учусь, хотя следовало бы научиться давным-давно, думать о себе как о человеке, который исчерпал все возможности и теперь находится у последней черты.

Я дома.

Звонок в дверь. Дворничиха привела свою приятельницу, фру такую-то, осмотреть квартиру на случай, если она вскоре освободится. Женщины с любопытством разглядывают все кругом. Я даже позволяю им пощупать кровать в спальне. Я не говорю ни слова. Даже «до свидания».

## 11

Мы уселись, налили кофе в белые пластмассовые стаканчики, мне предложили сигару — и можно начинать беседу. Я сразу прошу Нордбю не ходить вокруг да около, а прямо сказать, что ему нужно. Он руководитель, он мой шеф, и он решает все дела. Не нужно понапрасну щадить мои чувства. Нордбю кивает и пытается, как подобает, изобразить старого, многоопытного коллегу.

— Карлсон, объясните же мне, черт возьми, что произошло? И скажите сразу, если вы... впрочем, мы ведь, кажется, на «ты»?.. если ты хочешь еще кофе. Не волнуйся. Я позаботился, чтобы нам никто не мешал. Пока мы сидим здесь, снаружи будет гореть красная лампа. Что же в самом деле случилось, Карлсон?

— Что случилось?.. Если б я знал.

— Попробуй собраться с мыслями.

— Я устал, во мне борются два человека. Бывает такое: одна рука ведает, что творит другая, но не может помешать.

— Ага. Мистика какая-то.

— Вероятно, я сказал ужасающую чушь. Охотно признаю.

— Карлсон, может быть, у тебя нервы пошаливают?

— Отнюдь нет. Наоборот. Произошло просто-напросто небольшое раздвоение личности — безусловно, весьма распространенное явление среди преподавателей. Со мной и раньше такое бывало.

— Вот как? И что ты делал?

— Абсолютно ничего. А что мне было делать?

— Ладно, не мне вмешиваться, но, понимаешь, твои ученики или как там их назвать,



несколько удивились, когда ты начал рассказывать, что птицы покидают землю и вернутся только после гибели нашей цивилизации. Тогда они, по твоим словам, начнут новую жизнь на земле.

— Да-да. Именно это я и говорил. Так оно и есть. Птицы — мой любимый конек с давних пор, Нордбю, но на сей раз я просто хотел расшевелить этих мелких, лишенных фантазии счетоводов.

— К сожалению, ты не ограничился одними птицами. По поводу одного вопроса ты сказал, что задать его мог только будущий ревизор, но насколько мне известно, вопрос был вполне уместный и деловой.

— Уместный и деловой вопрос тоже может быть нелепым. Ну ладно, я увлекся. Не спорю.

— Дело сложное, но, разумеется, мы дадим тебе еще одну попытку. Это точно. Не думай, что мы вышвырнем тебя за такую малость.

— Послушай, Нордбю, ты профессор и возглавляешь это заведение, ты только дай мне знак. Я мигом исчезну.

— Я не вправе самостоятельно принимать никаких решений. Извини, что мне придется употреблять слово "демократия", но она у нас практикуется, и, по-моему, с тобой нужно обойтись лояльно.

— Лояльно? Мерзкое слово. Только бывшие скауты и любители иностранных словечек говорят "лояльно".

Нордбю почесывает шею под высоким воротом, встает и, засунув руки в карманы, идет к окну, прикрывает жалюзи.

— Я страшно устаю от яркого света. В нашем здании чересчур много стекла. У меня постоянно мигрени.

— Увы, с этим ничего нельзя поделать.

Нордбю снова садится и наливает кофе в пластмассовый стаканчик.

— Мы, конечно, сначала обсудим это на ученом совете.

— Не надо. Я уйду добровольно.

— Думай, что хочешь, Карлсон, но, по-моему, с тобой следует поступить справедливо, даже если на это потребуется время.

— Что значит "поступить справедливо" в данном случае, когда я так опростоволосился?

— Поступить справедливо — значит принять во внимание обстоятельства, провести дело по всем инстанциям, а не решать мне одному.

— Можно дать тебе небольшую консультацию по вопросу справедливости? Видишь ли, отдельному человеку еще может повезти принимать справедливые решения — то есть решения, которые удовлетворяют обе стороны, и никакие другие, — но он один несет ответственность и потому действует с осторожностью. Коллективное же решение всегда носит отпечаток власти, и справедливость — то, что устраивает обе стороны, — растворяется в политике и становится отвлеченным понятием. Не будем говорить о справедливости, а, Нордбю?

— Пусть другие не думают, что мы вынудили тебя уйти без необходимых формальностей.

Я начинаю разбираться в ситуации. Неяркий свет в комнате явно располагает профессора к откровенности. Даже здесь, в теоретическом центре меркантилизма, предбаннике огромного коммерческого общества, могут скрываться тайные марксисты, и есть опасность, что они выскочат неведь откуда и попытаются использовать прецедент в своих целях: увольнение почасовика, который прославился статьями против Общего рынка и критикой монополии фармацевтической промышленности в производстве лекарственных препаратов.

— Если уж на то пошло, Карлсон, всех только позабавит возможность поставить в нелепое положение и меня, и еще кое-кого из ученого совета, а это означает полгода толков по всему институту.

— Да, разумеется, это нежелательно. Но послушай, Нордбю, ты ведь можешь сослаться на то, что я иногда опаздываю на семинары и даже совсем не являюсь и так далее.

— Все это мы терпим из-за того, что ты много лет был превосходным преподавателем. Ну ладно, давай разберемся, что происходит. Ты ведь сейчас живешь один?

— Да, и весьма доволен. Благодарю.

— Я постараюсь преподнести твоё, Карлсон, дело в самом выгодном свете, но я уже сказал: решать будет ученый совет.

Вскочив, я кричу (сидя, кричать я не умею):

— Не желаю быть замешанным в пространные дискуссии, слышишь? Оставьте меня в покое.

В покое, чтоб вам пусто было! Мне глубоко наплевать на марксистов, либералов и прочих, все мои потенциальные защитники видят во мне только один из многочисленных симптомов капитализма, или свободы, или дьявол знает чего, но как только я перестану быть принципиальным вопросом и дело канет в прошлое, эти союзники и думать забудут, есть ли у меня горячий обед раз-другой в неделю. А теперь я больше говорить не намерен, я пошел.

В комнате, обитой пластиком, становится душно. С нас градом катится пот. Моя кожа словно засижена мухами. От синтетического ковра на полу по ногам волнами идет холод. У меня начинают дрожать колени. Дотронувшись до полки, я получаю электрический удар, доходящий до самого плеча.

Должно быть, красная сигнальная лампа снаружи погасла, потому что теперь в комнату то и дело, молча и не здороваясь, входят люди, роятся на полках и снова исчезают. Я спрашиваю, что, больше не положено стучаться? Оказывается, этот порядок отменили. Теперь все имеют право входить свободно.

— А помнишь, Карлсон, я посещал твои семинары по гражданскому праву?

— Неужели? Да, я рано стал вести семинары. Начал преподавать гражданское право, еще не изучив и половины его. Я ведь собирался пойти по преподавательской линии, когда получу степень кандидата юридических наук, но потом познакомился с девушкой, мы обручились, и мне пришлось зарабатывать деньги. Так я стал адвокатом. По собственной глупости.

— Но у тебя были неплохие доходы. Я слышал, ты в основном вел дела о наследстве, а от этого в кошельки кое-что попадает.

— Так-то так, только кошелек оказался дырявый. Моя жена сорила деньгами, вторя словам Шоу: если у меня нет любви, пусть хоть деньги будут.

Мы идем к выходу, по пути заглядывая в просторные светлые комнаты с таблицами и плакатами на стенах. На стульях новейших конструкций сидят модно одетые люди, которые пытаются увязать инстинкт самосохранения с новыми формами администрации, а рядом — усталые мужи лет за сорок, хитростью и уловками старающиеся избежать того, что еще не так давно считалось священным долгом.

— Вот лифт, Карлсон. Счастливо.

— Я лучше спущусь пешком.

— Пешком? С седьмого этажа?

— Не люблю лифтов, Нордбю.

— Этого лифта можешь не бояться. Даже не замечаешь, как едешь.

— Тем более неприятно.

Молодежь в бархате и белом ситце на бегу здоровается с пожилыми людьми в потертой чесуче.

Я уже спускаюсь по лестнице, но внезапно оборачиваюсь и окликаю Нордбю, который направился к своему кабинету.

— Да? Что такое, Карлсон?

Я стою двумя ступеньками ниже. Мои глаза находятся на уровне его пояса. Голос у меня слегка дрожит:

— Обещай не раздувать историю, а? Я этого не вынесу. И я прекрасно обойдусь без денег, которые здесь получаю. Оставьте меня в покое. Слышишь? Оставьте меня в покое. Не хочу быть пешкой в чужой игре. Прощай и не поминай лихом, так, кажется, говорят.

На лестнице я осторожно обхожу пустые жестянки из-под пива, окурки, грязные полиэтиленовые пакеты, выдавленные тюбики из-под крема и так далее. А лифт наверняка вылизан, как коридор в больнице. На лестнице не встречаю ни души.

Я протискиваюсь между автомобилями, стоящих вокруг здания, стараясь не задевать ветровых стекол, не царапать лак на дверцах, не заглядывать в машины, откуда за мной наблюдают собаки. Правда, один раз я случайно бросаю взгляд в маленький «фиат». Желтая овчарка прижимает язык к стеклу. Я не отрываясь гляжу в ее безумные глаза.

В переполненном автобусе я еду в центр. Радостные пенсионеры спешат к пароходу, отправляющемуся в Швецию. Даме рядом со мной семьдесят шесть лет, она совершает эту поездку два раза в неделю.

— Теперь не стыдно быть старым. Мы, как все, можем и путешествовать, и развлекаться. Не то что в былые времена.

На Кебмагергаде я останавливаюсь перед зданием, где проработал более двадцати лет.

Смотрю на окна адвокатской конторы. В одном я вижу молодую девушку, разговаривающую по телефону. В мое время ее не было. В мое время? Прошло всего три месяца, как я бросил дела. Может быть, она и имени-то моего не слышала.

В новом бистро на Стройеде выпиваю кружку пива.

Я был посредственным адвокатом, и если компаньоны не обнаружили этого, значит, либо я умею хорошо притворяться, либо сами они были посредственностями. Но если уж на то пошло, именно посредственности составляют основу рабочей силы в нашем скромном коммерческом обществе. Во всяком случае, мой компаньон А, мой компаньон Б и я сам, В, были вполне надежными адвокатами. Мы выигрывали те дела, которые можно было выиграть, и, естественно, проигрывали те, которые выиграть было нельзя. Мы исключили из нашей клиентуры только школьных учителей. Из подозрительности они сами совали нос в законы.

А, Б и В были любезными, проворными и бойкими. Мы никогда не имели головомойки от правления. Каждый раз, получив дело по наследству «благородного» покойника, мы распивали бутылку лучшего вина и поздравляли друг друга, но только когда мы были вдвоем, А, Б и В, без посторонних. Мы были в курсе всех биржевых новостей. Мы зарабатывали большие деньги. И А, и Б, и В занялись не своим делом. А мечтал стать ювелиром, Б художником, я учителем. Об этом мы говорили раз в год, приводя в порядок бухгалтерию перед ревизией. Мы не оказывали бесплатных услуг бывшим товарищам по школе, по скаутской команде или военной службе. Мы были честными и деловыми людьми. В неофициальной обстановке мы собирались лишь в случае необходимости. Компаньона А я помню только по фамилии.

Стройед. У меня ощущение, что я иду здесь в последний раз.

Теплая и влажная погода, располагающая к излишней чувствительности. Женщины в туго облегающих брюках. Ряды ритмично покачивающихся ягодиц по пути к открывающейся вдаль Ратушной площади. Узкие вязаные кофточки. Широкие мощные ремни. Крепкие девицы, словно из американских вестернов, которые не боятся в одиночку, спрятавшись за массивными темными очками, зайти в любой кабак выпить пива. Самцы норовят невзначай задеть какую-нибудь крошку без бюстгалтера, однако так, чтобы не потерять голову. Другие жмутся к стенам домов. Из порнолавочки доносится песня Сольвейг из «Пера Гюнта». Я покрываюсь потом, как в период полового созревания. Успокаиваюсь на Фредериксбергской аллее. Моя фантазия уносится к белому домику на болоте или у подножия холма, но мир пуст, и в нем нет больше птиц.

Дворничиха встречает меня безумным взглядом и сообщает, что мой велосипед украли. Вероятно, прошлой ночью. Пропали также детская коляска и трехколесный велосипед.

— Странно, что вы сами этого не обнаружили, — говорит она, — очень странно, честно говоря.

— Да, честно говоря, странно.

Войдя к себе, я ложусь на кровать в ботинках. Я слишком много пережил и потому не могу писать. Мне нужен месяц, чтобы отоспаться.

## 12

Мучительный разговор. Хорошо, что он позади. Я снова укрылся в безопасности моей мансарды. (Безопасность нарушают только звонки в дверь.)

Утро было мучительным. Сейчас уже день. Три часа. Вечер ближе, чем утром, во время мучительного разговора. Тир часа, и я еще могу что-то успеть.

К сожалению, этот человек начал мне нравиться, стало быть, я почти не изменился, а жаль. Если я встречаю кого-либо в третий раз, тот всегда вызывает у меня симпатию.

Этот человек начал мне нравиться сегодня утром. Его настойчивость мне импонирует. Упорное стремление втянуть меня в редколлегию нового журнала мне некоторым образом льстит. Он сказал, что мои неловкие попытки собрать хоть какие-нибудь сведения о нем разочаровали его, и разочарование казалось искренним. Сомнительно также, что у него корыстные цели. Слушая его, я устыдился своих мыслей.

Поэтому, пока он разговаривал по телефону, я улизнул. Он уверял меня, что условия работы будут свободными и разнообразными. Мне позволено по собственному усмотрению сформулировать контракт. Как адвокат и известный журналист, я могу полностью рассчитывать на широчайшее доверие со стороны «Ревю Норд».

В самом начале разговора он сказал:

— Я со своей стороны также был вынужден собрать о вас сведения, но это мотивировано исключительно желанием узнать, почему вы так решительно отказались от карьеры.

Я попытался оправдаться — да, я начал фразу так:

— Если я со своей стороны...

И тут же осекся. Чувшь какая-то. С моей стороны... с его стороны... сплошное словоблудие, от начала до конца, и больше ничего.

Он сообщил, что разговаривал с Лили, которая отозвалась обо мне положительно... с моими бывшими коллегами-адвокатами, которые постарались не сказать ничего, что можно было бы истолковать в мою пользу... с моим бывшим шурином Карлом, который охарактеризовал меня как уравновешенного и надежного в совместной работе человека.

Вот уже и четыре. А что еще Карл мог сказать? Я сажусь на пол и дразню морскую свинку, почесывая ее по спине карандашом. Зверюшка пытается спрятаться в углу.

Думая о Карле, я неизбежно вспоминаю его хитрую усмешку и мимоходом брошенные слова о пожилых мужчинах, подстерегающих голых купальщиц. Без сомнения, у Карла можно было много вывести.

Из-за дружеской атмосферы в кабинете Эльберга, в частности приветливости его секретарши и неяркого освещения, разговор оказался для меня еще более мучительным. Один раз у меня выступили слезы, и мне пришлось как бы между прочим объяснить эту неуравновешенность катаром желудка. После чего мы поговорили о моем здоровье, но я постарался не слишком распространяться на эту тему.

Когда зазвонил телефон, я вышел в приемную и спросил секретаршу, где находится туалет. Она с приветливой улыбкой объяснила. Больше я не вернулся.

Выйдя на улицу, я увидел Лили под руку с Боссе. Я остановился на безопасном расстоянии, и они меня не заметили.

Пять часов.

День, час и я — мы существуем...

Были, есть и будем вечно...

Так и должно быть. Я есть день и час. Я вечное воплощение дня и часа.

Запись... Труд целого дня... мое очередное открытие: время проникает в сознание, разрастается и исчезает со страхом смерти и радостью ожидания смерти.

Пора кормить свинку. У нее по-прежнему нет имени. Эльберг прослышал об эпизоде в институте и утверждает, что не придает ему особого значения. Но неужели я действительно стоял на лестнице и чуть ли не со слезами умолял уволить меня? Я подтвердил.

Он показал мне проспект первого номера «Ревю Норд», и тут зазвонил телефон, а дальше уже известно: я улизнул из кабинета, выяснил у его услужливой секретарши, где находится туалет, и больше не вернулся. На улице стояло такси, я подозвал его и по дороге домой, кроме лица шофера, не заметил ничего, так я был одержим стремлением скорее вернуться к вечно ожидающей меня работе.

Все еще пять. Хотя стрелки на моих часах движутся.

По радио слышу, как старая дама рассказывает о своей долгой жизни: она ткала, лепила, вязала тряпичные коврики, расписывала фарфор. Эта восьмидесятилетняя старуха ни слова не говорит о смерти. Я с нетерпением жду, когда она прямо перед микрофоном развалится на кусочки, подобно глиняным горшкам, о которых она без конца твердит. Она смеется, и честное слово, поет песенку! Еще тысяч триста престарелых радиослушателей по всей стране подпевают ей. Корреспондент радио истолковывает ее беззаботность как жизненную силу. Я снимаю ботинки и, несмотря на ранний час, готовлюсь лечь спать.

## 13

— Я тебе обещаю поместить все наилучшим образом. На третьей странице во втором разделе. Так что перестань дуться, а?

В семь часов утра Осе Стенберг из «Моргенбладет» приходит ко мне за обещанным интервью.

Я замечаю, что мы договаривались на девять. Она смеется и закуривает уже пятую сигарету. Я предлагаю ей, пока я одеваюсь, сварить кофе, прошу не сыпать пепел на пол и предупреждаю, чтобы она не включала радио. Сам я никогда не слушаю радио до девяти. Я объясняю, что мы находимся в

старом доме, где выше первого этажа живут старые люди.

Надев рубашку, я выхожу в кухню к Осе со словами:

— Та ведь знаешь, что я не в восторге от этой затеи? Конечно я и сам в некотором роде сотрудничал в вашей газете, но теперь газеты ровным счетом ничего для меня не значат. Я две недели в глаза не видел ни одной газеты и не страдаю от этого. С меня довольно.

Осе «ведет» в «Моргенбладет» новую воскресную рубрику: «Знаменитые люди, которые вышли из игры».

— По-моему, это прекрасная мысль — начать с тебя, Карлсон. Многим нашим читателям нравились твои статьи.

— Чушь.

— Извини. Я только хотела тебя немного подбодрить.

— Ты варишь страшно крепкий кофе.

— Почему ты, собственно, все бросил, Карлсон?

— Потому что... напиши что хочешь.

— Как обычно? Прочь из большого города? В сельскую коммуны? Великая гармония в тиши? Все эти штампы, которым люди так верят?

— Прекрасно.

— Чертовски банально, но я переделаю как-нибудь поинтереснее. Ну а прошлое? Что тебе не нравилось?

— А ты как думаешь?

— Я думаю, тебе приходилось плясать под чужую дудку.

— У нас справедливые судьи, и мы не полицейское государство.

— Так и написать?

— Можешь немного смягчить.

— Ну а человек с улицы? Разве ему по-прежнему не трудно добиться справедливости?

— Что значит «человек с улицы»? О ком ты?

— Отлично, Карлсон, отлично. Ты настолько ушел в себя, что не знаком с самым ходовым выражением сегодняшнего дня. Просто отлично. Я сделаю из этого двадцать строчек.

— Валяй.

— Дальше. Ты был адвокатом почти четверть века. Какое дело, по-твоему, заслуживает особого упоминания?

— В марте тысяча девятьсот семьдесят второго года призовую суку по кличке Лайла покрыл прибудившийся кобель, потом это повторилось еще раз, во время ее следующей течки в сентябре того же года. Оба раза аристократка Лайла сидела в огромном «вольво» и считалась в безопасности, но, к сожалению, одно стекло в машине было наполовину опущено, и этого оказалось достаточно. Лайлу отвезли к ветеринару для немедленного вмешательства, чтобы ее хозяин, собаковод, не получил беспородных щенков. Я был адвокатом ответчика, то есть кобеля, принадлежавшего одной несчастной учительнице. Дело я проиграл, и истец получил компенсацию за потерю дохода от двух пометов щенков. Я строил защиту на том, что жестоко заставлять суку производить щенков подряд два раза — как видишь, я отстаивал интересы Лайлы, — но специалисты заявили, что здоровая сука в хорошей форме без вреда для себя может производить щенков два раза подряд. Таким образом, я проиграл это важное дело, в котором, по сути, собака выступала против человека. Не пиши, что хозяйкой кобеля была учительница. Ни одному делу я не посвятил столько времени и внимания. С глубочайшим уважением отношусь к судам, которые не жалеют драгоценного времени на подобные сложные тяжбы.

— Собаку звали Лайла?

— То ли Лайла, то ли Лаура. Это неважно.

— А еще ты защищал группу левой молодежи, обвинявшейся в шпионаже.

— Этого я почти не помню.

— Теперь, в середине жизненного пути, как писал какой-то классик, ты, наверное, оглядываешься назад? Расскажи немного о своем детстве в безумные двадцатые, как их называют.

Я во всех красках описываю свое детство.

— А в школе? Вы боялись учителей?

— Учителя были врагом, но врагом видимым. Это большое преимущество. Но сегодня, когда враг невидим, наверное, еще труднее. Сегодня он и среди тех, кто бунтует. Короче, враг — это

демагоги. И все, точка.

— У тебя сейчас стало больше времени для общения с приятными тебе людьми?

— Не знаю таких. Но времени предостаточно.

— Ну а спорт и свежий воздух? Как у тебя с этим?

— Я катаюсь на велосипеде. Правда, его сейчас украли.

— Значит, возьмем у кого-нибудь велосипед и сфотографируем тебя с ним. Какие планы на будущее? Собираешься писать?

— Да, об одном францисканском монахе, а может, документальный очерк о некоем судье Скоу, которого я когда-то знал. Вот был необычный человек. Впрочем, он еще жив.

— Пожалуй, я соединю монаха и судью. Ну и последний, традиционный вопрос: не горько ли тебе иногда жить в такой изоляции?

— Бывает, хочется сорвать двери с петель.

— Блестяще. Теперь пойдем к Йонасу. Он ждет нас в машине с фотоаппаратом. Боже, что у тебя в ящике?

— Морская свинка.

— Написать, что ты защитник животных или что-нибудь в этом роде?

— Только не пиши, что я вивисектор, и не давай адреса, иначе сюда примчатся сотни три полоумных старушенций и линчуют меня на месте. Напиши, что я живу на Амагере и что мне страшно мешает шум самолетов. Да, черт возьми, так и напиши.

На лестнице Осе подкатывается ко мне насчет сотенки. До первого числа. Меня снимают на белом дамском велосипеде, который все время, что я здесь живу, простоял на улице, прислоненный к дереву.

Когда я ем неизменный шницель по-венски в моем любимом погребе, кельнер спрашивает, знаю ли я анекдот про бумеранг.

У одного человека десять лет был бумеранг. Друзья решили, что пора подарить ему новый. Через некоторое время, удивившись его печальному лицу, друзья спросили: «Разве тебе не нравится твой новый бумеранг?» — «Нравится, — ответил он, — только старый все время возвращается».

— Мудрый анекдот, — смеюсь я.

— Ну, это просто анекдот, — говорит кельнер.

— Светлое пиво и... бумеранг, — чуть было не сказал я, — то есть «Бонекамп».

— Ну а старому кельнеру? Что ему?

— Старому кельнеру как всегда.

Посетители, те же двое, что обычно, глухие и оглушенные. Учитель с улицы Ньюей в компании пуделя пьет свой вечерний портвейн, актриса в компании своего последнего младенца пьет джин с тоником.

Из автомата в погребе я звоню в «Моргенбладет». Пусть Осе Стенберг пришлет мне интервью на одобрение, прежде чем пускать в печать. Мне отвечают, что она только что ушла, надо было предупредить заранее.

Я возвращаюсь к своему пиву и заказываю еще один «Бонекамп». Кельнер следит за мной внимательным, почти настороженным взглядом.

— Нам нужны новые политики, — говорит он, наливая себе пива.

— Не знаю, что вы имеете в виду, — говорю я.

— Может быть, вас устраивает существующий порядок?

— Политики ничем не отличаются от тех, кто их выбирает.

— Напрасно вы так думаете. — Кельнер подходит вплотную к моему столу. — Подать счет?

Мы сегодня рано закрываем.

— Может быть, еще пива на прощанье? Одно вам, одно мне.

Кельнер кивает.

Я снова безуспешно звоню в газету.

Когда я прощаюсь, учитель тупо поворачивает голову и вперивает в меня взгляд, а актриса смотрит в сторону.

Морская свинка волнуется. В квартире все еще витает чужой запах.

Осе Стенберг, примадонна кабаков, всегда устраивала так называемую тихую травлю политическим деятелям, которые отказывались подходить к телефону в три часа ночи. Самая мягкая форма «тихой травли» заключалась в нелепых фотографиях жертвы и искажении ее высказываний.

Мне следовало сразу вышвырнуть вон Осе Стенберг вместе с ее свободной прессой.

Почему я не посмел?

Последние мирные часы накануне беспокойных дней.

Воскресенье утром: резкий звонок в дверь, дворничиха протягивает мне «Моргенбладет» и просит не срывать двери с петель, иначе мне будет отказано в квартире. Я с улыбкой обещаю не причинять ей никаких неприятностей и желаю приятно провести воскресенье.

Читаю только заголовок: «Бывший адвокат пишет психологический роман об известном судье». Лишь бы не перекормить свинку. Она как-то странно дышит.

## 14

Я ем двадцатую яичницу в 1973 году и слушаю, как моя давняя любовь Рита Хейворт поет: «Bewitched... bothered... and bewildered...» [Очарована... измучена... и смущена... (англ.)] — лучшего сочетания не придумаешь.

Я зажигаю «Упман» и курю целый час.

Следующий час слушаю музыку барокко. Я едва дышу, чтобы не нарушить гармонию, царящую вокруг музыкантов, руки которых нежно касаются инструментов. В барочной музыке нет ни перепадов настроения, ни сольных выкрутасов. Все трезво и ясно, музыка обращена ко многим, но слышат ее единицы.

Неожиданно звонок в дверь.

Я выключаю приемник, напоминаю себе, что нужно купить три пучка лука-порея для следующей яичницы, и вслушиваюсь в мертвую тишину после звонка.

Я не ответил на открытку моего друга Арвида Маттсона из Сконе, которую получил через адвокатскую контору. Он остановился в гостинице «Александра» и хочет пообедать со мной. Но я не желаю поддерживать старые знакомства.

На третий звонок я открываю дверь и вижу: Алиса Йенсен и два деятеля Армии Спасения — ее брат, бригадир Эрнст Поульсен, и его жена, рядовой Эльна.

— Входите... не скажу, что удивлен, но, конечно, не готов.

— Мы за вами, Карлсон. Поедем ко мне. Переодеваться не обязательно.

— Нет уж, Алиса. У меня есть красивый пиджак, и позвольте мне его надеть. Спускайтесь вниз и подождите меня.

В «фольксвагене» бригадира пахнет дешевым бриолином. Настроение приподнятое. У Алисы не накрашены губы. Из всех средств наводить красоту Армия Спасения разрешает лишь крем «Нивея».

В квартире Алисы, вот уж не думал, много розового.

Брат не снимает пиджака, но я вижу его свежевыглаженную белую рубашку. Темно-синий галстук завязан тугим узлом.

Я сижу на зеленом диване с черными кожаными подушками и с бахромой внизу. Остальные расположились в креслах напротив. Алиса выходит сварить кофе.

— Не бойтесь, Карлсон, перед вами не ловцы душ. Мы просто хотим познакомиться: моя сестра часто о вас говорит.

— Я иногда стою под окнами вашей штаб-квартиры и наслаждаюсь музыкой. Мне даже кажется, что я видел в оркестре ваше лицо... или твое? Как у вас принято обращаться, на «вы» или на «ты»?

— На «вы».

— Ваша жена тоже получит офицерское звание? Уж простите мое любопытство, нечасто представляется случай узнать обо всем из первых рук.

— Мы только рады, что у вас есть желание задавать вопросы. Да, Эльна в скором времени станет офицером. Во всяком случае, мы надеемся.

Алиса приносит кофейник, четыре чашки и блюдо с сухим печеньем. Она садится рядом со мной на диван и разливает кофе.

— Стеффен, вы так представляли себе моего брата?

— Нет, в моем воображении он был высокий худой человек с темными волосами.

— Не думайте, что я много ем, отнюдь нет, — с громким смехом говорит бригадир. — Это я от природы такой сильный и пузатый.

— Ты очень красивый, Эрнст, — заверяет его Эльна.

— Послушайте, бригадир Поульсен, если бы я собирался вступить в вашу Армию, я бы задал один-единственный вопрос: разрешается ли у вас курить?

— Мы против курения, в наших глазах — это дурная и противоестественная, непростительная привычка потворствовать своим желаниям, хотя я должен признать, что некоторые наши солдаты курят и мы этого не запрещаем, во всяком случае прямо не запрещаем, но они знают, что офицерами им не бывать.

— В Армии мы получаем очень маленькое жалованье, — говорит Эльна, — нам бы его не хватало, если бы Эрнст курил.

— Или если бы вы курили.

— Я? Об этом и речи быть не может.

— Неужели табак так много для вас значит, господин Карлсон? — спрашивает Поульсен. — Повторяю, это дурная и противоестественная привычка потворствовать своим желаниям.

— Удовлетворение своих желаний не представляется мне противоестественным. А табак значит для меня очень много. Я, наверное, и смерть встречу с сигарой в зубах. И нашедший меня будет знать, что мне было хорошо до последнего вздоха.

Эльна прямо-таки впиалась в меня взглядом. Боюсь, она сейчас закричит.

Но ее голос звучит неожиданно спокойно:

— Человек создан для того, чтобы приносить радость другим.

— Что такое радость?

— Радость — указать людям путь к Богу через Иисуса.

— А слушать музыку?

— Только если музыка обращает мысли к Богу.

— По-моему, это принижает и Бога, и музыку.

— Что вы хотите сказать, Карлсон? — Бригадир улыбается, но в горле у него тихо клокочет.

Его жена не сводит глаз с моих губ. Молчание Алисы мучительно.

— О Боге нельзя думать. Бога нельзя постичь, как нельзя измерить бесконечное. Это быстро поняли во второй фазе христианства, назовем ее церковной фазой. Поэтому в раннехристианской церкви ввели хоровое пение и музыку. Они призваны были освободить человека от мыслей, успокоить его тем, что Бог якобы сам обращается к нему посредством музыки. Пока в церкви звучали пение и музыка, Бог не был для человека ни великой абстракцией, ни великим творцом. Бог был конкретным в музыке, и человеку не приходилось мучительно думать, как Его достичь, чтобы служить Ему. Да, собственно говоря, так и осталось. В этом и состоит ценность музыки.

— Сразу видно, что вы опытный адвокат, — говорит Поульсен. — Но так легко вы не отделаетесь. По-моему, вам будет полезно услышать о работе, которую Армия Спасения ведет во всем мире под хорошую музыку, направляющую мысли к Богу.

— Слышите, Стеффен? Моего брата голыми руками не возьмешь.

— Истинное предназначение музыки, Карлсон, служить детям божьим, которые не могут жить друг без друга.

— Может быть, вашей музыки, но не настоящей.

— Боюсь, мы все время неверно понимаем друг друга.

— Непонимание полезно и необходимо, чтобы наша встреча за чашкой кофе закончилась мирно.

Алиса Йенсен наливает еще кофе.

— Стеффен любит высказывать суждения. Все время какие-то суждения.

— Во всяком случае, я не выработал свода суждений, как твое семейство, сидящее напротив нас.

— Вы с ней на «ты»? — спрашивает Эльна.

— Нет-нет, я оговорился. Мне на секунду показалось, что я не здесь, а где-то еще. Почему вы носите форму?

— Наша форма показывает, что мы отделились от мира, она ограждает нас от соблазнов и не позволяет солдату Армии Спасения поддаваться влиянию мирской моды.

— Поульсен, если бы мы с вами сейчас вдруг отвлеклись от вашей Армии, Бога и прочего, о чем бы мы говорили?

— Я уверен, о чем-то несущественном.



— Например? Мне интересно.

— Карлсон, давайте на сем закончим. Приходите на наше следующее собрание.

— Хотите посмотреть моих золотых рыбок? - предлагает Алиса.

— Я буду молиться за вас, — говорит Эльна, глядя на меня странным зазывным взглядом. — На нашей следующей коллективной молитве я буду молить Бога, чтобы вы пришли к нам.

— На коллективной молитве?

— Посмотрите раздел шестнадцатый главы десятой книги нашего основоположника. Там вы прочтете, как солдат Армии Спасения должен молиться вместе с другими на собраниях: преклонив колена, с закрытыми глазами и так далее.

— Но ведь Христос в Нагорной проповеди, если не ошибаюсь, в главе шестой Евангелия от Матфея, учил молиться Отцу твоему, Который втайне...

Поульсен смотрит на часы, встает и с улыбкой кладет руку мне на плечо.

— Карлсон, я уже сказал: приходите на наше следующее собрание и послушайте, что мы проповедуем. Думаю, у вас сложится о нас хорошее мнение, и вы узнаете, что мы скромные люди, пришедшие к Богу без теологии и университетов. Мы самые обычные люди и обращаемся к таким же обычным людям. Ваша манера разговаривать не поможет человеку, попавшему в беду. Не в обиду вам будь сказано.

— Bravo, Эрнст, — говорит Алиса; она тоже поднялась.

Эльна встает передо мной, чуть откинув голову назад, прикрывает глаза и говорит, сначала шепотом, потом все громче:

— Вступив рядовым в самую доблестную Армию на свете, я преобразилась, и моя жизнь стала прекрасной. Я почувствовала, как очистилась от всякого страха, и во мне живет только одно чувство, а именно: чувство ответственности за ближнего. Наша Армия не использует веру, чтобы оторвать человека от человека. Она хочет собрать нас всех в огромное и прекрасное товарищество во Христе и петь песни, которые мир любит потому, что Иисус посетил и простил его.

Теплое рукопожатие, кивок и приветливые слова на прощание. Теперь у Эльны спокойный взгляд. Я замечаю, что она уклоняется от поцелуя в щеку, который приготовила ей Алиса.

После их ухода я помогаю вымыть чашки. При этом я сижу, что явно раздражает Алису.

— Какого вы мнения о них, Карлсон?

— Раньше был Стеффен, теперь Карлсон, ну, неважно. Что ж, они мне понравились. Стало быть, вот они какие. Впрочем, какими же им еще быть?..

— Жаль, что моя невестка под конец задрала нос.

— По-моему, это была вершина.

— Правда?

— Перестаньте все время говорить «правда». Дурацкое слово. Да, я сказал именно то, что хотел сказать. Как говорил мой старый друг, Оле Бас, продавая мне хорошую джазовую пластинку: «В ней что-то есть». Хорошие слова. Так вот, в исповеди Эльны, рядового Эльны, что-то было. Вернее, что-то было во мне, когда я ее слушал.

— Какую чепуху вы городите. Иногда это уже ни в какие рамки не лезет.

— Наверное, потому, что и сам-то я всего лишь рамка.

— Выпьем пива?

— Бригадир бы этого не одобрил. Но я охотно выпью бутылочку.

В гостиную я говорю:

— Попробую сесть в кресло Эльны, посмотрю, что получится.

— Хотя я очень люблю Эрнста, но должна признать, что вы отлично его отбрили. Настолько хорошо, что я еще повременю вступать в эту Армию. Может быть, она не для меня.

— Вы действительно считаете, что я хорошо держался?

— Да, хотя вы тоже изрядно задирали нос, но вам можно простить: из-за вашей профессии и так далее. А вот Эльне непростительно.

Мы молча сидим минут пятнадцать, потом Алиса включает телевизор. В специальном выпуске теленовостей лидер новой ультраконсервативной партии грубо заигрывает с простыми людьми, которые честно живут трудом рук своих.

Алиса считает, что этот человек во многом прав. Я пользуюсь моментом, чтобы распрощаться. Меня тянет домой. Она приглашает меня приходиться еще. Я говорю, что завтра уезжаю.

У меня не было градусника, чтобы измерить жар, который внезапно набросился на меня сзади и заставил беспомощно сидеть на корточках, пока не полегчало.

Потом я лег на кровать. С меня градом катился пот, все тело ныло.

Я попробовал банан, который давно лежал у меня. Он оказался мягким и темным внутри. Не успел я съесть и половины, как меня стошнило. Носом пошла кровь, я загадил всю постель.

В тот день, когда у меня был самый сильный жар, я не мог даже выпить глотка воды.

Моя кожа пахла резиной.

На расстоянии многих лет от меня в каком-то незабываемом дне пищала зверюшка, которую тетя Крошка подарила мне для забавы во время кори, бушевавшей в моем теле, и я водил горячей рукой по спине зверюшки, снова и снова пытаюсь открыть глаза и посмотреть на комнату, погруженную в красный свет от задернутых штор. Тетя Крошка обещала, что я не ослепну, если не буду вставать и выглядывать в сад.

Зверюшка растет и необъяснимым образом превращается в верблюда. Мы с тетей Крошкой и тетей Эрикой долго стоим в зоопарке и наблюдаем за ним. Тетя Крошка, мыслящая простыми категориями добра, считает, что это красивое и достойное животное. Эрика находит его только практичным: ведь верблюд может долго обходиться без воды.

Когда жар немного спал, я как следует умылся и отправился бродить по городу, который стал неузнаваемым. Я заметил, что даже новые дома находятся на грани разрушения.

На моем подбородке выросла щетина.

Пройдя пешком минут десять, я устал и попытался собраться с силами на скамейке во Фредериксбергском парке. Я дышал часто и неглубоко, в груди у меня свистело. Не знаю, спал ли я... но очнулся от того, что какая-то женщина тыкала мне пальцем в правое плечо и призывала взять себя в руки. Что значит взять себя в руки? У меня не хватило голоса для такого длинного вопроса. Может быть, мне хотелось заплакать. Нет, я не плакал по-настоящему и не собирался плакать. Склонившись надо мной, но больше меня не трогая, женщина говорила о спасении души.

Мне нужна была помощь — не спасение, а помощь. Я почувствовал, что температура опять резко подскочила, лицо женщины стало гадким и красным, я пнул ее ногой, вложив в пинок последние силы.

Кто-то отвез меня на машине домой.

В голове красным светом снова пылал жар, все преобразилось, и человек, лежавший на траве в Нюруп Хегн, вовсе не застрелился из револьвера, который держал в руке, словно взятый напрокат театральный реквизит, а, сам того не подозревая, был убит, и убийца беспрепятственно вернулся на станцию Снеккерстен и уехал на поезде домой с кровью убитого на руках, и старая кровь смешалась с новой в мрачном узоре жизни.

Я снова проснулся, вялый и бессильный, соскоблил с рук грязный слой кожи и смыл дочиста. Попробовал встать на ноги. На ногах я держался. Жар не прошел, но уже отступал. Я обратился к внешнему миру, которого — как я теперь понимаю — мне следовало бы избегать.

В частности, я позвонил судье Скоу и слабым голосом сказал, что сожалею об интервью в «Моргенбладет», где имя Скоу, которое я всегда упоминал только с почтением, было втоптано в грязь. Или что-то в этом роде. Судья ответил, что примет к сведению мои извинения. Я даже высказался прийти к нему и лично выразить сожаление о случившемся, но судья отказался, а когда я потребовал объяснения, сказал, что уезжает в Англию в гости к сестре, на что я, кажется, заорал, что он врет.

Эльберг — уже не Эльберга ли я видел на улице вместе с человеком, на которого мне когда-то указал мой юный клиент Клаус, из левых, назвав его агентом ЦРУ? Когда Эльберг распрошлся с агентом, я последовал за ним и неожиданно для него очутился в его кабинете, хотя секретарша пыталась меня задержать. Насколько я помню, Эльберг сказал, что срок ответа на его предложение истек, и, опять-таки насколько я помню, мои мольбы продлить срок ни к чему не привели — меня нелюбезно, прямо-таки грубо выставили на лестницу, но за подробности не ручаюсь.

В подъезде здания, где помещалась адвокатская контора, я с улыбкой вцепился в рукав моего бывшего компаньона, хотя он недвусмысленно дал понять, что хотел бы избежать меня. Неужели я действительно собирался подняться наверх? Он пытался объяснить мне, что времена настали тяжелые, одного из двух уполномоченных конторы уволили, и от услуг бухгалтерши тоже пришлось отказаться. Ясно, черт возьми, но уж ветерану-то всегда найдется местечко? Это невозможно, заявил

он, а что я сказал ему дальше, припомнить теперь не могу.

Я выздоровел. И был безгранично горд, что поправился без посторонней помощи. Болезнь показала мне мою силу. Позови я врача, я бы еще месяц приходил в себя.

Хочется наестся до отвала, выкурить сигару, отдернуть шторы.

Покупаю нижнее белье, рубашки, простыни и пару териленовых брюк, которые оказываются широко. Придется немного набрать вес, я похудел до пятидесяти восьми килограммов.

Иду к Алисе за газетой, потому что во мне неожиданно проснулась жажда новостей. Мне кажется, Алиса рада снова меня видеть. Однако к моей болезни она проявляет весьма сдержанный интерес. В заднем помещении магазинчика сидит мужчина и пьет кофе. Кто он, мне не видно.

Все снова в порядке, и я готов вплотную заняться жизнеописанием моего друга монаха Юстуса, но не могу заставить себя уединиться в своей коробке, поэтому ношусь по городу, разговариваю с людьми, спрашиваю и отвечаю, призываю на помощь словом жесты, и вот-вот наступит жаркое лето.

## 16

За утренним кофе я слышу: новая ультраконсервативная партия в наивных и в то же время угрожающих выражениях нападает на законодателей. Мы приближаемся к положению в Веймарской республике периода упадка.

Я совершаю короткую экскурсию на теплоходе. Порывистый копенгагенский ветер срывает шляпу с какой-то дамы из Гамбурга. Я спасаю шляпу. Дама приглашает меня позавтракать в «Золотой фортуны». Я в восторге от своего немецкого и обещаю непременно с ней встретиться. В крайнем случае в Гамбурге.

Я долго стою в зоопарке и смотрю на верблюда. Возможно, на того самого необъяснимого верблюда, которого видел вместе с тетушками сорок лет назад.

Иду в Ботанический сад. На растениях таблички с названиями. Наша потребность всему давать наименования движет науку. Тщеславие не удовлетворяется простыми наблюдениями.

Стою на Брёлэггерстрэде и смотрю на дом, где жил и ежедневно приносил пользу дедушка Карлсон.

Сижу в читальном зале Королевской библиотеки. Тишина угнетает, и я ухожу. Беру на дом книги о жизни средневековых монастырей. В книгах одни слова, слова, которые свидетельствуют о фактах, но умалчивают о скрытых связях неизвестного тринадцатого века с неизвестным настоящим.

Ем яблоко в саду Библиотеки. Некий доктор философии, оторвавшись от научных изысканий, садится рядом со мной на скамейку. У него новейшие теории пиетизма, но он смеется, уткнувшись взглядом в собственные ботинки:

— Больше ничего не скажу. Я не разглашаю своих профессиональных тайн.

— Новые теории пиетизма? А какая от них польза? — спрашиваю я.

— От любых новых знаний есть польза, — отвечает он.

Я возражаю:

— В конечной точке развития цивилизации, где мы сейчас находимся, любое новое знание будет лишь содействовать распаду.

Он только качает головой.

— Мы вернемся к каменному веку, — продолжаю я.

Он не перестает качать головой, тем самым выражая самодовольную озабоченность. Чтобы избавиться от него, я угощаю его яблоком.

А дома: я снова сижу в автобусе дальнего следования, который останавливается перед знакомым и неизвестным домом. Мы стоим так долго, что я успеваю заметить в саду перед домом дохлого пса. Из дверей, как обычно, выходит женщина и идет к мусорному баку, где она что-то ищет. Вытянутое тело пса застыло, вокруг открытой пасти роятся мухи. Автобус едет дальше. На вершине холма я оборачиваюсь, чтобы еще раз взглянуть на дом, но ничего не вижу. Не смею расспросить шофера про дом. Вокруг холмы или болотистые низины.

Я думаю о связи между сном и не сном.

Однажды, когда на улице сильный ветер и в воздухе ни капли влаги, у меня появляется желание приготовить к обеду хороший бифштекс с луком, и после утреннего кофе я приступаю к готовке.

Только часов в двенадцать у меня возникает ощущение какой-то перемены, и я обнаруживаю, что морская свинка сдохла.

Неожиданное одиночество не сводит меня с ума и не увлекает на туманную стезю в поисках связи между приснившимся мнедохлым псом и морской свинкой; я поступаю очень разумно: заворачиваю зверюшку в полиэтиленовый пакет универмага «Ирма» — таких интересных вещей мне еще не приходилось носить в фирменном пакете — и, уложив пакет в портфель, несу во Фредериксбергский парк, где после долгих поисков нахожу подходящие кусты. Здесь я хороню безымянную зверюшку. Если бы я положил свинку в мусорный бак возле дома, дворничиха непременно обнаружила бы ее и пожаловалась хозяину.

В квартире, не находя себе места, брожу вокруг низенького стола, мне не хватает привычных звуков из ящика в углу. Ну что ж — вперед. Любая смерть, человека или морской свинки, проводит четкую границу между настоящим и будущим; я усаживаюсь за пишущую машинку и преодолеваю непривычную тишину комнаты.

Моя самая удачная работа никого не интересует. Это исследование благотворительной деятельности средневековых монастырей. Благотворительность не была милостыней, она оказывалась из тех соображений, что любой человек из-за будущего единения с Богом сам по себе представляет абсолютную ценность. Поэтому нуждающегося рассматривали не как парию общества, говоря сегодняшним языком, а как достойного человека, на которого у Бога в данный момент особые виды. А оказывающий помощь серый монах был таким же неимущим, как и принимающий подаяние. В этом прослеживались равенство и гармония в отличие от наших дней, когда работники социального обеспечения разъезжают от одного благотворительного заведения к другому в теплых автомобилях и имеют право устроить забастовку, если им в определенный срок не повышают жалованье.

И все же мое растущее уважение к подвижнику монаху Юстусу не позволяет мне распорядиться своей рукописью (146 страниц) иначе, как положив в папку и запрытав подальше, насколько это возможно в моей комнате, где нет ни шкафов, ни ящиков в столе.

Статья для «Моргенбладет», где я в очередной раз ратую за контроль над ложами, орденами и братствами и их более или менее тайными предназначениями, вернулась ко мне с любезным письмом, и на заявление в университет с просьбой о стипендии для дальнейшей научной работы в области общескандинавской правовой системы я получил отказ. Зарабатывать становится все труднее.

Я продаю закладные и частично расплачиваюсь с долгами.

После смерти морской свинки я потерял вкус к бифштексам с луком.

Однажды я надеваю пижаму, чтобы лечь спать, но тут раздается звонок в дверь. Пора уезжать отсюда. Впускаю своего бывшего подзащитного Клауса, одного из левых, обвинявшихся в шпионаже (был обнаружен тайный центр связи и пр.). Мы с Клаусом отделались легким испугом. Во всяком случае, так мне казалось тогда.

Он постарел, волосы поредели, кожа на лице обвисла. Но губы все еще по-ребячьи пухлые, будто он вырос против воли. Он просит денег на нужды своей маленькой группы. Я отвечаю, что сижу на мели. Он в ответ грубит. Выходит в кухню проверить, нет ли у меня чего выпить, и возвращается с пустыми руками.

— Чем с утра до вечера протирать задом штаны, лучше бы помог нам. Нам нужна помощь, старик.

— Даже от бывшего капиталиста?

— Хватит, надоело. Конечно, выступать мы тебя не заставим. Ты будешь молчаливым помощником.

— Может быть, ты считаешь, что я должен искупить вину?

— Пожалуй.

— Все это ерунда, Клаус. От меня ничего не дождешься.

— А во время процесса, помнишь? Тогда ты был за нас.

— По долгу службы, и совесть у меня была не совсем чиста. Теперь я больше не за вас. С этим покончено.

— Ты же сам сказал, что ты против капитализма, значит, ты обязан...

— Теперь, когда я добровольно стал неимущим, у меня нет никаких политических обязательств. Так-то. Другое дело, люди обеспеченные, они должны быть социалистами, это верно.

— Но ты в это ни капли не веришь?

— Нет.

— А вообще во что-нибудь веришь?

— Да, но тебя это не касается. Не думай, что ты можешь без приглашения свалиться мне на голову и позволять себе Бог знает что. Даю тебе еще пять минут, и прощай.

— Мне и минуты хватит, чтобы сказать тебе, что ты буржуазное дерьмо, как все юристы.

— Радуйся, что тебе все же пришлось иметь дело с юристами. А то смотрел бы сейчас на небо в клеточку.

— Тебя слушать тошнее, чем того прокурора. Потому что ты трус. Бежишь с поля боя. Увидел перспективу, на которую раньше закрывал глаза, и поджал хвост. Ты типичный так называемый буржуазный гуманист.

— Буржуазный? А кто, черт возьми, не буржуазный? Социалисты тоже имеют свой буржуазный статус и буржуазные права. Когда победа достигнута, победители утверждают свою систему, не так ли? И мы получаем буржуазные права. Это неизбежно.

— Знаешь, все это я уже тысячу раз слышал.

— Конечно, слышал, только в одно ухо впускал, а в другое выпускал, потому что не любишь слушать ничего, кроме собственного резонерства.

— Одолжи мне двести крон, Стеффен. Для меня лично.

— Откуда я знаю, что для тебя лично?

— Ты мне не доверяешь?

— Охотно доверял бы, но не могу. Не забывай о моей профессии.

— Если бы я пошел к отцу, он бы сразу выложил эти деньги, и просить бы не пришлось.

— Так иди к отцу, черт побери. Он небось побогаче меня.

— Побогаче? Скажешь тоже! Он у меня простой рабочий. Рабочий, слышишь! Каждый божий день встает в пять утра и приходит смертельно усталый, наглотавшись пыли и грязи, в то время как ты здесь протираешь штаны и куришь толстые сигары. Рабочий! Вот кто он такой. А ты ни одного рабочего не знаешь.

— Хватит заводитьсь, не думай, что я внезапно раздобрею и стану сговорчивее, наслушавшись про твоего отца. Да, я прекрасно знаю, что интеллигенция и студенты, во всяком случае кое-кто из них, считают, будто единственно верный ответ на все вопросы можно найти на рабочих местах, но я, Клаус, к ним не отношусь. Ничуть. Кстати, твой отец тоже входит в вашу группу, или он из старых социалистов, которых вы презираете не меньше, чем правую буржуазию? Наверняка он старый праведный коммунист, твой отец, и ему плевать на ваши нескончаемые разглагольствования. Вас скучно слушать. Любого из вас.

— Мы с отцом не во всем согласны, но я его уважаю, понял? Он тридцать пять лет борется за социализм. Тридцать пять лет, понял?

— И конечно, он не заметил, что в наши дни уже почти не существует того, с чем он боролся тридцать лет назад. Ну хватит. Я хотел бы выспаться.

— Тебе надо познакомиться с моим отцом, Стеффен. Уверен, он тебе понравится.

— Кончай ломать комедию. На что тебе деньги?

— Это другой разговор. Мы готовим новую брошюру для некоторых заводов. Нам нужно к субботе достать тысячу триста крон. Я надеюсь получить от тебя двести.

— Вы бросаете деньги на ветер. Рабочим в нашей стране не нужен социализм. Данные выборов показывают это со всей определенностью. Рабочие знают, что социализм надолго уравнивает им зарплату.

— Эту пластинку я уже слышал не знаю сколько раз.

Клаус встает, прогуливается по комнате, презрительно оглядывая мои скромные пожитки, и снова садится. Как и в прошлую нашу встречу, я опять должен выслушивать его разглагольствования о бесклассовом обществе в Европе сразу после грядущей революции. Будущий социализм там, мол, будет чище и справедливее, чем нынешний, где, по его словам, «исказили» Маркса.

— Всей этой напыщенной чуши о русском ревизионизме я наслушался до умопомрачения, Клаус. Мне твердили про это в течение трех часов на вечеринке, куда ты меня зачем-то пригласил. Никогда не забуду этих университетских «марксистов», которые сидели и болтали об эксплуатации рабочего класса, пока мы с сестрой одного из ребят вдвоем — слышишь, только вдвоем! — делали бутерброды, притаскивали их в комнату, вытирали загаженные столы, уносили грязные стаканы, приносили чистые и так далее... Никто из этих господ теоретиков не оторвался от стула, чтобы принять участие в столь черной работе. Они даже не замечали, что мы с девушкой заняты делом. Они

принимали это как должное. И уж, разумеется, ни один из них не снизошел до разговора со мной. Хотя именно я немало сделал, чтобы добиться для тебя самого мягкого приговора.

— К чему ты вспоминаешь все эти мелочи?

— Я дам тебе сто крон, больше у меня нет. А теперь убирайся и больше не приходи.

— А если приду?

— Не будем загадывать, но, если ты воздержишься от разговоров о революции, я угощу тебя чашкой кофе или кружкой пива.

— Ты ничего не понимаешь, Стеффен. Революция — это сегодня самое важное.

— Ты прекратишь разговоры о революции, если она совершится на самом деле, потому что тогда тебе крах, полный крах. Ведь ты боишься действительности, и, думаю, именно это мне в тебе нравится, Клаус.

— Ты, как обычно, уходишь от сути. По-моему, ты бездарность, Стеффен.

— Мог бы быть любезнее. Ну ладно, спасибо за приятный вечер. Больше нам говорить не о чем. Держись подальше от «красных» в университете. Всяких там иезуитов.

Просидев еще два часа, Клаус уходит, предварительно рассказав мне, как его мать в свое время бросила отца и троих несовершеннолетних детей, чтобы попытаться счастья с пекарем. Через два года пекарь умер, и мать вернулась домой к своим обязанностям, но с тех пор отец разговаривал с ней только по делу, и Клаус оправдывает этот бойкот.

Он уходит, не поблагодарив за двести крон, которые под конец все же вытряс из меня.

Несколько раз я просыпаюсь от того, что мне не хватает сопения морской свинки. Пора убрать ящик из угла.

Пора и самому убираться.

Утром получаю письмо от Клауса, он собирается заглянуть в один из ближайших вечеров. Ему нужно со мной кое о чем поговорить.

О матери? Об отце? О пекаре? О Марксе? О революции, которую он, возможно, принимает всерьез, только разговаривая со мной, потому то я его провоцирую?

Когда-нибудь Клаус усядется за письменным столом, чтобы управлять частицей большой новой системы, и эта система не разрешит последней и великой проблемы человечества: необозримости будущего.

Нельзя допустить, чтобы Клаус стал моим другом или вроде того. Надо уехать, только куда?

Господин из бюро прогнозов обещает жаркое лето, и я представляю себя на складном стуле в лучах палящего летнего солнца, с меня градом катится пот, а нежная кожа покрыта красной сыпью.

Я бы охотно поехал на пляж, но там слишком много народу, народу чересчур самоуверенного и жадного до жизни, и это при нашей печальной действительности. Так что до поры до времени придется оставаться на месте.

Иногда звонят в дверь.

Мне вернули мой «Рэли». Неожиданно я нахожу его у стены дома, зачем-то даю дворнику сорок крон и отправляюсь на велосипеде в парк Конгелунден.

17

Копенгаген, 7 июля 1938 года.

Дорогой Стеффен!

Надеюсь, та получаешь удовольствие от каникул, честно заслуженных после выпускных экзаменов, и надеюсь, что погода у вас в Сендerviге такая же хорошая, как здесь, в Лиселейе. Недавно мы с твоими тетками совершили прогулку на мыс Куллен. Даже на самой вершине горы Кулаберг мы говорили о твоём будущем. Обдумай этот вопрос как следует сам, Стеффен. Кстати, с желудком у меня гораздо лучше. Очевидно, я просто переутомился весной. Надо беречься.

Вчера пришло письмо от твоей матери. Она пишет, что у нее все в порядке, осенью она собирается устроить выставку.

Отец.

3 октября 1949 года.

Дорогой Стеффен!

Постараюсь быть деликатной, но необходимо сказать всю правду. Хотя ты все еще лежишь в гипсе и можешь только написать домой, ты должен знать, как мы с Крошкой переживаем внезапную смерть твоего отца. Мы по-прежнему не понимаем его поступка. Человек никогда не должен сдаваться. Это слишком легкий способ разрешить все проблемы, Стеффен. Твоя мать, которую мы иногда встречаем, интересуется, не получал ли ты писем от отца в последние три недели перед его смертью. Желаю скорейшего выздоровления. Надеюсь, в Ютландии хорошие врачи. Ведь в провинции не лучшие больницы. Стеффен, теперь у нас никого не осталось, кроме тебя. Привет от Крошки.

Твоя тетя Эрика.

Флоренция, 3 мая 1946 года.

Дорогой Стеффен!

Пишу тебе всего несколько слов. Я все еще безумно влюблена в тебя, хотя здесь я познакомилась с симпатичными молодыми людьми, они, знаешь, тут все смуглые и очень бойкие. Мама по-прежнему считает, что мне следовало выбрать не тебя, а Хермана. Ведь он унаследует от отца меховую фирму, но я сказала ей, что ты наверняка пойдешь дальше Хермана, который, кстати, страшный зануда. Во Флоренции очень красиво. Мы с мамой насмотрелись античного искусства на пять лет вперед. Лапочка, не изменяй мне, если можешь. Между прочим, не называй меня Пушинкой. Это я только папе разрешаю. Напиши поскорей, но не забудь, что 17 мая мы возвращаемся домой.

Целую и обнимаю

Твоя Лили.

10 октября 1949 года.

Дорогой Стеффен!

Спасибо за милое письмо. Оно подбодрило нас с тетей Крошкой. Слава Богу, ты идешь на поправку. Мы рады, что, по мнению главного врача, ты не утратил подвижность. Случилось бы это дома! Мы с Крошкой не особенно доверяем врачам в Рингкебинге. Твоя мать по-прежнему допытывается, не получал ли ты писем от отца перед его смертью. Мы сказали ей: ты написал, что писем не было, но, по-моему, она нам не верит. Хотя отношения между вами долгие годы были не ахти какие, ей бы следовало самой написать тебе. Кстати, твой отец в завещании оставил ту треть имущества, которой имеет право распоряжаться, нам с Крошкой, и мы, конечно, очень тронуты, но лучше бы он сам был с нами. Возвращайся скорее домой. Когда мы увидим Лили? Неужели ей не хочется навестить нас? Ведь она твоя жена и могла бы проявить какой-то интерес к нам в это тяжелое время.

С приветом, твоя Эрика.

16 сентября 1949 года.

Дорогой Стеффен!

Надеюсь, у тебя все в порядке и путешествие на Белые Пески прошло хорошо. Это короткое письмецо, думаю, застанет тебя в гостинице, где ты, как я считаю, все еще живешь.

Прилагаю фотографию твоего отца с одной очаровательной дамой. Мы стоим на пирсе на озере Венерн. Многие годы я был безумно в нее влюблен и хочу, чтобы ты знал об этом. Можешь думать обо мне что угодно.

Ее зовут Кэте Бернтсен, к сожалению, она замужем, и муж увозит ее в Америку, где он собирается открыть ресторан с датской кухней, кажется в Лос-Анжелесе. Если Кэте едет, а об этом я узнаю на днях, я конченый человек. Без нее в моей жизни больше нет надежды.

Что бы ты ни услышал обо мне, не презирай меня. Человек ничего не совершает без причины. Я упрекаю себя лишь в том, что давным-давно не рассказал тебе о Кэте Бернтсен. Будь здоров. Большой привет Лили.

Отец.

Я плохо помню то время. Слишком много было разных событий. Когда с рестораном в Копенгагене дела пошли неважно, муж решил непременно уехать в Америку. Его и раньше тянуло в дальние

страны, и я уехала с ним, и мы прожили вместе много счастливых лет. Это правда. Поначалу было трудно, но мы работали не покладая рук круглые сутки, и скоро наш ресторан стал пользоваться большим успехом.

А теперь я здесь одна. Муж умер, а сын, Вилли, остался там, но Курт, слава Богу, живет в Гентофте. Курт — моя опора. Не знаю, как бы я жила без него, ведь я стала плохо слышать и видеть. С Куртом вы можете поговорить. Он в саду и рад будет с вами познакомиться.

Нет, говоря откровенно — что в моем возрасте не так уж обязательно, — я почти не помню вашего отца. Такой мечтатель, кажется, и не поймешь его, если не знать близко. Мы были знакомы много лет, он присылал мне цветы, всегда такой милый. Однажды мы вместе ходили на концерт. Это было очень давно. Когда мы уезжали в Америку, он одолжил нам пять тысяч, но потом мы их вернули. Была ли я влюблена в него, в Стеена Карлсона? Не думаю. Но знаете ли, женщине всегда лестно, когда в нее влюбляется какой-нибудь мужчина. Наверное, так и было. Однажды он приглашал меня провести с ним отпуск в Карлстаде, да-да, в Карлстаде, но я была вынуждена отказаться. Надо ведь было думать о детях. Пойдите поговорите с моим сыном Куртом...

Здравствуйте, Карлсон. Очень трогательно, что вы навестили маму. У нас почти никто не бывает. Спасибо за фотографию мамы с вашим отцом, которую вы мне прислали. Красивая пара, ничего не скажешь. Но с маминой стороны ничего серьезного не было, Карлсон. Просто она флиртowała и нафлиртowała себе кучу денег, так что они с отцом смогли удрать в США. Будем честны. Эти деньги они так никогда и не вернули, потому что отец несколько раз обанкротился. Вашего отца, можно сказать, облапошили. Именно так — облапошили. Но, по-моему, я не обязан отдавать этот долг. Как говорится, дети не отвечают за грехи родителей. Но вы ведь не за деньгами приехали? Мне бы хотелось оставить у себя фотографию. Моя мать была красавица, правда? А теперь она только ворчит. Да, здорово вашего отца облапошили. Кстати, он еще жив? Нет, разумеется, нет. Пять тысяч, в сорок девятом это были большие деньги, ну да ладно, не наше дело...

## 19

К счастью, я замечаю Лили раньше, чем она меня. Таким образом, у меня есть несколько секунд, чтобы подготовиться к встрече.

Она очень похудела. От ее прежней, чуть ленивой пышности не осталось и следа. Сегодня Лили надела платье без рукавов и с большим вырезом. Видимо, она не хочет скрывать того, что с ней происходит. Жизнь покидает ее — быстро и явно. Или, может быть, она хочет подразнить хлопчущих вокруг нее жизнелюбцев.

Когда я здороваюсь, она оборачивается ко мне с прежней легкостью, но в этой легкости появилось что-то судорожное. Мы улыбаемся друг другу. Я слегка сжимаю ее руку. Незнакомое выражение ее глаз удивляет меня, и на секунду мне кажется, что я с кем-то ее спутал. У нее не накрашены губы, на веках нет теней. Наверное, она не хочет обманывать тех, кто любит выказывать сочувствие. Лицо должно отражать положение вещей, считает новая Лили, которая когда-то тщательно скрывала косметикой морщины усталости и гневный румянец. Она тщательно подбирала маску и даже одно время собиралась стать театральным гримером. Помню, сорок лет назад тетя Крошка сказала: «Красятся только падшие женщины».

— Не пожирай меня глазами, Стеффен.

— Лили, я так давно не видел тебя.

— Приятно, что мы встретились здесь, в Тиволи. Мы когда-нибудь были с тобой в Тиволи? Ты и я, вдвоем?

— Не помню.

— Однажды мы были здесь с твоим прежним другом Вестергором. Это я помню.

— Точно. И ты права, говоря «твой прежний друг». Ведь ты его и отвадила. Я долго не мог тебе этого простить.

— Значит, все же простил? Пойдем в турецкий ресторан?

В этот вечер Тиволи заполнен тысячами немцев, которые поедают огромные порции мороженого, хором смеются и чинно стоят в очереди перед павильоном кривых зеркал.

На террасе турецкого ресторана всего несколько посетителей, и это как нельзя кстати. Я отодвигаю кресло для Лили и приглашаю ее сесть. Она качает головой.

— Перестань. Я не в санатории. Веди себя как обычно. Любезно-невежливо. Пусть сегодня



все будет как обычно. — И добавляет, уже сидя: — Но это трудно. Я понимаю.

— А где твое нефритовое кольцо? Которое ты всегда носила на правой руке?

— Рука слишком похудела, на ней все болтается.

— Но тебе лучше без украшений. Кольца и браслеты простят. Так тебе больше идет, Лили.

— Ты, может быть, считаешь, что болезнь делает меня... да, какой? Что происходит с человеком, который начинает исчезать?

— Не слишком приятный вопрос, но надо признать: очень важный. Его следует задавать себе каждое утро. А сейчас подумаем об официанте. Креветки? Сначала креветки, а потом посмотрим. И хорошее пиво, и еще что-нибудь покрепче. Тебе можно?

— Мне теперь все можно.

Я делаю заказ официанту, и в ожидании еды мы закуриваем. Легкие кресла, на которых мы сидим, кажутся нам предохранительной сеткой. Когда думаешь о смерти, она всегда представляется далекой. В Лили она на время прекратила свою работу. Лили с улыбкой говорит, что каждому человеку должны при рождении сообщать дату смерти. Ей кажется, это придает жизни перспективу, заставляет человека жить более нравственно.

— Или наоборот, Лили. Скорее — наоборот. Зная день своей смерти, люди становились бы настоящими зверями.

Нам подали креветки на гренках со свежим салатом.

— Слава Богу, я продала дом. В комнатах стало слишком шумно, и, когда я однажды вечером закатила истерику, мы с Боссе решили как можно скорее избавиться от виллы. Понимаешь, от этих милых друзей уже совсем не было покоя.

— А как у тебя с Боссе? Все хорошо?

— Да, все хорошо. Боссе очень мил со мной. В общем и целом. К сожалению, он хочет, чтобы я бросила курить и перестала есть мясо.

— Вот как, он из этой породы? Хотя это меня не удивляет. К чести нашей будь сказано, мы никогда не давали друг другу советов в отношении здоровья и прочих глупостей. Мы жили, как хотелось, и брали от жизни все, что могли.

Лили собирается написать завещание и просит моей помощи, но я советую ей обратиться к Франдсу. Он не великий адвокат, но достаточно заглянуть в справочник и записаться на прием к нотариусу. Мое участие могут истолковать неправильно.

— Не надо ничего оставлять мне, Лили. Пусть Боссе получит как можно больше, это будет круглая сумма, хотя в таких случаях налог с наследства сжирает порядочно. Если Боссе ничего не получит, то, пожалуй, обозлится на меня. Такое у меня предчувствие. Он безмерно ревнив, а подобная ревность, когда предмет общей любви в могиле — прости, что я так свободно об этом говорю, — подобная ревность может принимать весьма жестокие формы. Еще вздумает избить меня.

— Ерунда. Боссе мирный, как сытый медвежонок.

— Некоторые медведи не бывают мирными, даже когда сыты. Боюсь, он из их числа.

Лили роняет нож. Я поднимаю его. Она говорит, что постоянно что-нибудь роняет.

— Нельзя ли воспользоваться нашей дачей, Лили? Мне стало невыносимо там, где я живу.

— Да-да, пожалуйста, только подожди до августа, ладно? Я сама собиралась в воскресенье поехать туда на месяц. Попробую немного восстановить силы.

— Хорошо-хорошо, я подожду до августа. А пока я могу поселиться у старой фру Бертельсен. Кстати, я с первого октября отказался от своей квартиры и получил разрешение хозяина сдать ее со следующей недели. Так что все устроилось как нельзя лучше. Человеку нужно меньше и меньше. Просто трудно поверить, что в моем возрасте — а мне пятьдесят три, если ты помнишь, — люди расширяют свои дома и покупают новые огромные автомобили. Я этого не понимаю.

— Мне бы очень хотелось посмотреть на твою мансарду. Тебе совсем не нравилось там жить?

— Она была бы в самый раз, удалась я от дел в сорок три. Но я слишком долго собирался.

Тиволи прекрасен, как всегда, во второй половине дня. По парку бегают с мячиками и дудками чистенькие дети, совсем как во времена моего детства. Зато родители одеты в синюю нестираную холстину с распродаж — такого у нас раньше не бывало.

— Как орут дети, правда?

— Нет, просто у нас обострился слух. Мы тоже ужасно орали, катаясь на санках в парке Эстре Анлэг.

— Помнишь, я рассказывала про мою подругу Мету? Я как-то жила у нее. Так вот, теперь она

в полном смысле слова конченный человек. После курса лечения она больше не трогает ни шприц, ни наркотики и все время играет с куклой. У нее двое детей, десяти и двенадцати лет, но она их почти не узнает, зато куклу каждый день купает и наряжает.

— Зачем ты мне это рассказываешь, Лили?

— Потому что я ее понимаю. Можно далеко уйти от прежней жизни.

— Хочешь кофе? По-моему, не стоит больше тратить время на еду, а? Кофе выпить будет неплохо, хотя здесь он, конечно, очень дорогой.

— Я угощаю. Когда жить остается три месяца, можно позволить себе кофе, будь он хоть дороже всего на свете.

По ее лицу я вижу, что она сама испугалась своих слов. Она виновато смотрит на меня. Мы подзываем официанта и заказываем кофе, коньяк и два пирожных.

— Будем наслаждаться жизнью, а что может быть лучше пирожных.

— Стеффен, ты по-прежнему состоишь в комитете борьбы против Общего рынка? Я больше не встречаю твоей фамилии в прогрессивных газетах.

— Спроси о чем-нибудь еще более мучительном для меня.

— О чем? Ведь я тебя теперь почти не знаю.

— Вот это в самую точку, Лили. Послушай, у меня однажды был клиент, старик лет семидесяти восьми, и жене столько же. Они прожили вместе сорок с лишним лет, совсем одряхлели и попали в дом для престарелых, где продолжали оставаться привязанными друг к другу, как в юности. Они почти одновременно свихнулись, их перевели в психиатрическое отделение, на разные этажи, и через несколько дней они перестали узнавать друг друга. Супруги встречались на лестнице, вежливо здоровались и даже не подозревали, с кем здороваются. Так что у нас с тобой лучше, Лили. Мы вовремя перестаем знать и узнавать друг друга.

— Ну, до этого еще далеко, Стеффен.

— Не обольщайся. Если мы оба доживем до будущего лета, нам уже нечего будет другу другу сказать, а сейчас мы сидим здесь: Тиволи, лето тысяча девятьсот семьдесят третьего года. Вот и давай этого держаться.

— Когда мы были женаты, я иногда совершенно не понимала тебя.

— Не удивительно. Бывало, я и сам себя не понимал. Но виной тому жалкая комедия, которую мы постоянно разыгрывали. Милый, консервативный, добропорядочный адвокат и все прочее, и, чем больше я замечал, что так меня воспринимают окружающие, тем сильнее возмущался в глубине души, и голосовал за социал-демократов, социалистов или коммунистов, тайком посылал деньги в фонды их избирательных кампаний. Но в то же время каждый раз, когда буржуазные партии терпели поражение на выборах, меня грызла совесть, и мои компаньоны, дрянные людишки, радовались при виде моей озабоченности судьбами буржуазного блока. Значит, я был предателем. Мелким, но все же предателем.

— Твои признания меня ничуть не удивляют, — смеется Лили.

— И для чего я разыгрывал комедию? Ну конечно, во-первых, если бы я раскрыл карты двадцать лет назад, мне пришлось бы искать другую работу. А этого мне вовсе не хотелось: мое место меня вполне устраивало. Во-вторых, думаю, эта комедия меня забавляла. Я сам себе казался более значительным. Поздними вечерами, сидя за бутылкой виски в гостях у довольно известного промышленника-консерватора, я, розовый двурушник, узнавал интересные вещи.

— И передавал их дальше?

— Нет, на это я не решался. Все услышанное оставалось при мне. Но в один прекрасный день я понял, что больше так не могу, и начал громко и открыто высказывать свои идеи по поводу Общего рынка, и антикоммунизма, и прочего. Это было в семидесятом. Я говорю: начал высказывать идеи, но, признаться, идей-то особых не было. Я об этом много размышлял. Вероятно, у человека есть ясные и четкие убеждения до тех пор, пока их необходимо скрывать. Вроде нашего флага, который мы поднимали на доме. В комнате, когда его вынимали из шкафа, это было нечто величественное, опасное и интересное, но стоило поднять его на мачту, как он делался маленьким и уже ничего не значил для нас, жителей дома, более того, он ничем не отличался от других флагов, зато, когда он лежал свернутый в шкафу, я, мальчишка, чувствовал, что там скрывается что-то запретное, незаконное.

Я выхожу в туалет, и внезапно меня охватывает страх, что, пока я вернусь, Лили исчезнет, что какой-то недобрый вихрь незаметно унесет ее, что она вовсе не была со мной сегодня в турецком

ресторане, что она уже много лет как умерла. Когда я возвращаюсь к ней, он улыбается.

— Что случилось, Стеффен? Кого ты встретил?

— Никого. Во всяком случае, никого, заслуживающего внимания. Теперь я снова с тобой. Здоровый и бдительный.

По словам Лили, она очень рада, что у нее есть Боссе. Может быть, ей с кем угодно было бы хорошо, но рядом с ней оказался Боссе. Благодаря ему она научилась жить по-другому. Со мной она даже в семьдесят лет оставалась бы избалованной папенькиной дочкой. Со мной ничто не принималось всерьез. Без меня она скучала, но стоило нам соединиться, как ей хотелось убежать. Ей казалось, что все рушится, и в этом она винила меня. Сегодня она понимает, что нам вообще не стоило жениться. Брак — это принуждение, убивающее все добрые чувства, он не предназначен для людей, которые хотят жить вместе на равных. Институт брака следовало упразднить в восемнадцатом веке, одновременно с признанием прав человека.

— Мы с тобой думаем одинаково, Лили, но кому от этого лучше?

— Как ты похудел, Стеффен. Я едва узнала тебя там, у входа.

— А я тебя сразу узнал.

Вдруг Лили случайно опрокидывает рюмку с коньяком. Быстро подходит официант и наливает ей новую порцию «Ларсена».

— Вот так целыми днями, — говорит она.

— Ну и пусть.

— Стеффен, ты встречаешь когда-нибудь Астрид? Мы еще называли ее дочкой, и она жила у нас года три-четыре. Ты ее встречаешь?

— Нет, и должен признаться, я ее почти забыл. Помню, она с ума сходила по лошадям.

— Что ты будешь делать у старой фру Бертельсен?

— Сидеть в саду, если позволит погода.

— Я как-то раз собиралась тебе позвонить, но телефона у тебя не было, а писать мне лень.

— Со временем я стал получать все меньше и меньше писем. Это не самое страшное.

— А телевизор у тебя был?

— Нет, он мне не нужен. Ведь я один. Почему ты говоришь «был»? Я еще жив.

— Мы с Боссе на неделю ездили в Рим.

— Мы с тобой тоже когда-то там были.

— Я платила за путешествие, а Боссе показывал мне город. Еще мы были в Ассизи.

— Ты однажды ездила во Флоренцию с матерью. Помнишь?

— Еще бы! Вот уж о чем охотно бы забыла.

— Почему? Прости за любопытство.

— Потому что меня угораздило лечь в постель к одному старому обаятельному итальянцу, и я до смерти боялась, что у меня будет от него ребенок.

— Ты написала мне из Флоренции славное письмо, одно из немногих сохранившихся у меня писем. Оно кончается примерно так: не изменяй мне, если можешь...

— Боссе иногда чудовищно ревнует. Я с трудом это выношу. Когда жизнь подходит к концу, просто нет сил выслушивать глупости.

— Я совершенно уверен, что мы с Боссе еще поцапаемся.

— Стало быть, я недавно была в Риме. А ты путешествовал?

— Нет. Меня теперь не привлекают путешествия, хотя я охотно поживу на своей бывшей даче. Но мне постоянно снится какой-то белый дом. Я могу его тебе описать во всех подробностях.

— Боссе утверждает, что у тебя в разных местах были скандалы.

— Да, трудности перестройки.

— А на что тебе надо перестраиваться?

— Скажем, на рациональное спокойствие.

— Не объяснишь ли ты мне это поподробнее?

— Думаю, не стоит.

— Тебя видели в Королевском саду с дамой.

— И тем мы удовлетворились — дама и я. Прогулкой по Королевскому саду. Время от времени мне нужно поговорить с живым человеком.

— Тебе просто необходимо съездить в Рим, Стеффен.

— Давай не заводить бессмысленный разговор. Тиволи, подумать только! Здесь я мальчиком

гулял с тетей Крошкой и тетей Эрикой. На мне был синий школьный пиджак, короткие серые штаны, белые носки и черные ботинки. Так же меня одевали на танцы к Хансу Беку. Тетя Эрика очень следила за моей одеждой, когда мы приезжали в город.

— Боюсь, тетки тебя испортили.

— Мой мир тогда был таким, каким его видели Крошка и Эрика. Для Крошки главным было пробуждать в человеке добрые чувства. Эрика считала, что прежде всего нужно подавлять дурное. В таком дуализме меня и воспитывали. Поэтому мне следовало стать философом, а не бесполезным адвокатом. Я, как говорится, приносил пользу обществу, а это только означает, выражаясь языком моих тетушек, что человек не способен отделять доброе от дурного. Теперь я снова пытаюсь восстановить в себе эту способность, но мне не от кого ждать помощи. Тогда у меня были мои милые старушки.

— Мне скоро станет холодно.

— Здесь двадцать два градуса.

— Это другой холод.

— Ну, мы кончили. Я позову официанта.

— Наверное, умереть — это и значит согреться холодом, если ты понимаешь, что я хочу сказать.

Наступает время платить, Лили выходит в туалет, и с официантом расплачиваюсь я, но ничего не говорю Лили, когда она возвращается.

— Боссе в два часа будет ждать меня у главного входа.

— Тогда простимся у театра пантомимы.

— Мы очень приятно провели время, Стеффен. Я сообщу тебе, когда дача освободится. Естественно, тебе не придется за нее платить.

— Спасибо. Я очень рад, что ты пускаешь меня пожить там.

Мы прощаемся.

## 20

Покидая квартиру во Фредериксберге, к часу дня я успел следующее:

1. прогулялся по маленькому кладбищу (прощай, Софи Эрстед)
2. заходил попрощаться в магазинчик, но Алиса Йенсен уехала отдыхать с неким господином Бруном. Дама, продавшая мне газету вместо Алисы, не знала подробностей
3. прокатился на велосипеде на озеро Дамхус. Там всегда царит странная мрачная атмосфера
4. продал «Рэли» дворнику за 190 крон.

После этого сижу в душевой гостинной и не знаю, куда себя девать. Дня длиннее трудно вообразить.

В углу все еще стоит ящик, где жила морская свинка. Надо выбросить его к приезду моего съемщика.

Здесь поселится пожилой провинциальный актер, получивший временный контракт в каком-то копенгагенском театре. Полный шумного оптимизма, он осматривал квартиру вместе со своей приятельницей в ярко-желтом платье. Они все трогали и щупали, а я стоял и смотрел. Приятельница актера попрыгала на моей кровати и сказала: «Супер-люкс». Они долго искали место для телевизора. Когда они ушли, я почувствовал себя чужим среди своих вещей.

В три часа пью чай. И спрашиваю: что будет со мной?

Укладываю книги в деревянный ящик. После того как я продал «Историю Дании» в тринадцати томах, старую энциклопедию и всю специальную литературу, у меня осталось тридцать четыре книги — большей частью очень тоненькие. В случае крайней нужды я оставляю только Библию, «Миграцию птиц и ее загадки» и «Анатоля Франса в домашних туфлях». Кровать, шкаф, стулья и прочее актер получает в пользование на все время поднайма. А потом... я не знаю...

Отрадно, что мое положение взбесило бы нервного спорщика Клауса, который в моей добровольной бездеятельности видит лишь признак жалости к самому себе, типичный для пожилых буржуазных либералов. Будь он здесь, он бы выкрикнул что-нибудь в этом роде, а я бы сказал в пространство: если каждый возьмет дело в свои руки, перестанет производить материальные ценности и начнет жить своей жизнью, как мой серый францисканец Юстус, все рациональные предпосылки для красного переворота взлетят на воздух, и тебе, Клаус, просто нечем будет заняться,

когда в мире не останется ни одного эксплуататора.

И все же, несмотря ни на что, было бы приятно, если бы Клаус сейчас появился и сказал прощай, пусть на свой лад.

Или если бы бригадир Армии Спасения и рядовой Эльна пришли с искренним намерением спасти меня.

Или если бы пожаловала Алиса с цветком и со слезами на глазах и поблагодарила за наше знакомство.

Или если бы доктор философии восстал из праха, попросил бы юридического совета и рассказал бы о своей здоровой и организованной жизни, позволившей ему дожить до восьмидесяти лет.

Или если бы Эльберг заново предложил написать статью о шансах скандинавского правового воззрения в условиях римского права в Европе.

Или...

Шесть часов вечера, и я спускаюсь поужинать. Погребок закрыт на ремонт.

Я снова перечитываю написанное о францисканцах, вычеркиваю и подчеркиваю на 146 страницах рукописи и знаю, что когда-нибудь всему настанет конец.

Юстус, этот стойкий и кроткий человек, этот чересчур терпеливый неудачник, тоже начал меня немного раздражать. Он знал, что его спасение зависит не от благородных деяний и бесконечных унижений, а лишь от всецельной веры, поработившей его волю, разум и память. Он знал это и все же помогал несчастным, которые, может быть, смеялись над ним в тот самый миг, когда от его помощи делались чуть менее несчастными. Должно быть, Юстус — этот безумный подвижник — в глубине души знал, что без испытаний не освободиться от брэнного мира. Но почему он держал это в тайне?

Примерно в час ночи раздается звонок в дверь. Сутулый человек с клочком бумаги в руке переводит взгляд с клочка на меня.

— Простите, что так поздно, здесь можно достать девочку?

Мой последний гость во Фредериксберге.

Я сплю нагишом, потому что пижаму вместе со всей одеждой отослал к фру Бертельсен, которая ждет меня завтра. Когда мы говорили по телефону, она сильно кашляла и жаловалась на боли в спине. Только бы она протянула лето.

Я сплю не больше часа. Слышу, как в ящике шуршит морская свинка.

Завтра в путь. Не задерживаться подолгу на одном месте. Так легче забыть все.

Часы идут медленно, а дни летят быстро — утешает меня до рассвета забытый мудрец.

## 21

Шестьдесят девять летних дней я живу снова у фру Бертельсен, Она заботится обо мне, как о сыне, которого у нее никогда не было. Ровно в восемь старушка подает мне завтрак в постель. Как и в прошлый раз, я живу в детской ее дочери Тове, где стоит огромный кукольный дом, где все куклы и мебель остались на тех же местах, что и тридцать лет назад. Каждое утро, выходя из комнаты, фру Бертельсен кидает взгляд на кукольный дом.

На задворках маленький сад. Чуть только над городом взойдет солнце, я усаживаюсь в тени яблони.

На второй завтрак я выпиваю кружку светлого пива, а потом пью кофе с фру Бертельсен, пока она не говорит:

— Пойду полежу немного.

Вечерами мы смотрим телевизор, хотя тепло и можно сидеть в саду. Все, что я смотрю, я тут же забываю.

Иногда я перечитываю записи об Арвиде Маттсоне, тете Хильде из Мальме и о Лили. Они все больше отдаляются от меня. Скоро они станут людьми, о которых я только слышал, но никогда не встречал.

В августе мне исполняется пятьдесят три. Никто этого не помнит, что в порядке вещей. Фру Бертельсен тоже ничего не знает, и поэтому я не возражаю, когда она подает к обеду морскую шуку.

За шестьдесят девять летних дней я получаю только три письма: из банка — по поводу моей ренты, из крематория — я не заплатил очередного взноса за будущую кремацию — и приглашение на

тридцатипятилетие окончания школы. Плюс открытка от Лили, подтверждающая наш уговор: я могу жить на даче с первого августа.

Отлично, стало быть, я попаду на дачу, когда уже схлынет отпускная лихорадка. В разгар лета на пляже всегда немыслимая грязь, кучи полиэтиленовых отбросов и противоестественная нагота.

В общем и целом мы с фру Бертельсен не мешаем друг другу. Каждый день в одно и то же время говорим друг другу одни и те же слова.

Иногда звонит телефон. Фру Бертельсен не слышит его даже на расстоянии полуметра, а я не беру трубку.

За пару дней до моего отъезда она заболевает, и я вызываю врача. У нее слабое воспаление легких. Мне приходится отложить поездку на дачу. Кроме меня, ухаживать за больной некому. Как сообщил мне сосед, дочь путешествует на автомобиле по Франции и не оставила адреса ни гостиницы, ни кемпинга.

Фру Бертельсен поправляется через три недели.

## 22

Первое, что я обнаруживаю на даче, — это теперь уже старое письмо от Лили с практическими советами и руководством. Мне сообщается, как включать электрический тостер, чистить химический туалет, где покупать молоко, яйца, масло и прочее. Раньше Лили никогда так обо мне не заботилась. Я едва узнаю ее почерк.

Я словно впервые в жизни вижу этот дом. Мне трудно припомнить, кто приезжал к нам сюда и о чем мы говорили, сидя по вечерам на веранде.

В первый день я ничего не делаю, только вдыхаю густой запах сосен, обступивших дом.

Я рад, что рано темнеет.

Я совершаю далекие прогулки и почти не помню моих прежних блужданий по пляжу и молодому лесу.

Ласточки сбиваются в тесные стайки, готовые пуститься в путь, вероятно, раньше обычного. Человек, который разносит рыбу, утверждает, что в последние годы в повадках перелетных птиц произошли серьезные изменения. Я охотно ему верю и после его ухода записываю эти наблюдения.

Третьего сентября неожиданно тепло по-летнему, и, прогуливаясь по пляжу, я встречаю голенькую купальщицу, которая непринужденно улыбается мне. Она не первой молодости, пожалуй, лет сорока, но фигура у нее хорошая, и держится она уверенно. Густые темные волосы распущены по плечам. Даже дома ее образ продолжает маячить передо мной.

Над дюнами летают незнакомые мне по книгам птицы. Те, которые не кричат, вызывают неприязнь. На берегу мне встречается рыбак, он знает про птиц все, хотя, как сам он утверждает, не читал о них ни строчки. Рассказывая про миграцию болотных птиц, которая заканчивается здесь в сентябре, он употребляет неизвестные мне слова. Сейчас летят ржанки и песочники обыкновенные, сообщает он, стоя рядом со мной и показывая в небо. Но в конце месяца мы снова увидим журавлей, говорит он, а потом полетят чирки и шилохвостики. Так-то вот.

На следующий день он приносит мне камбалу и не хочет брать за нее деньги. Я возражаю, и он на минуту делает вид, что обижен, но потом заговаривает о птицах и кладет завернутую в газету рыбу на кухонный стол. Когда я достаю деньги, он просит меня не упрямяться. Дескать, ему прекрасно известны мои обстоятельства. Некоторое время мы молчим, и на прощание он говорит, обернувшись ко мне:

— И по-моему, вы поступили честно.

Я, веселый нищий с прошлым богача, благодарю его, но не слишком пылко.

Пройдя метров двадцать по дорожке от домика к шоссе, он возвращается и приглашает как-нибудь зайти к нему в гости. Когда он меня слушает, у него бегает глаза, но, когда он разговаривает сам, глаза спокойные.

Камбала завернута в совсем свежую, вчерашнюю газету, и я просматриваю ее. Читаю объявление о смерти. Лили умерла тридцать первого августа. Похороны прошли в семейном кругу. Я отдаю камбалу кошкам, которые вечно снуют вокруг.

В темноте я долго гуляю, а потом пью кофе в кафетерии, где очень тоскливо, потому что разгар сезона позади. Лили умерла, и как мы с ней жили, хорошо или плохо, теперь не имеет значения.

Я иду в гости к рыбаку, которого зовут Бьярне Андерсен. Его жена за весь вечер не произносит ни слова, кроме «здравствуйте», «еще чашечку?» и «до свидания». Очевидно, ее не привлекают одинокие мужчины моего возраста.

Поговорив немного о птицах, Бьярне Андерсен внезапно прерывает себя и спрашивает, почему я больше не работаю адвокатом. Он извиняется за откровенный вопрос, но ходит так много слухов, что он хотел бы знать, где же правда, и я рассказываю ему правду, но он мне явно не верит. Получаю ли я пенсию по инвалидности? Нет, не получаю. Он снова извиняется за расспросы и замечает, что паразитизму, царящему в нашей стране, просто нет предела.

Я спрашиваю, правда ли, что в Данию больше не прилетают соловьи.

— Погодите, — отвечает он.

После короткой паузы он говорит, что вступил в новую партию, которая ставит целью поднять боевой дух в народе. Простой человек должен быть уверен, что у него не отнимут деньги, которые он зарабатывает. Простой человек достаточно долго был нелепой жертвой государства.

Я стараюсь говорить спокойно, но сам чувствую, что в голосе слышны истерические нотки.

— Все это меня в настоящее время не касается. Я бы предпочел послушать о птицах, господин Андерсен.

Пока он говорит по телефону в соседней комнате, я смотрю телевизионную передачу, где выступает французский философ, обеспокоенный тем, что техника посягает на приоритет философской мысли. Философия становится частной наукой среди других частных наук. Слова философа производят на меня впечатление, и я спешу домой, чтобы поразмыслить над ними.

На прощание Бьярне Андерсен говорит, что нам надо еще побеседовать. Ему нужна юридическая консультация, и он спрашивает, обижусь ли я, если он проверит в соответствующем учреждении, действительно ли я могу получить назад адвокатскую практику, если захочу.

Я отвечаю, что ничуть не обижусь.

После этой встречи я отвратительно сплю ночью и уже не могу припомнить слова французского философа о философии.

Все еще тянется некое подобие лета с невыносимой жарой. Женщина, которую я недавно встретил на пляже голый и которая мне улыбнулась, теперь загорает в узеньком черном бикини, а у ног ее лежат две собачки. Я здороваюсь и быстро иду дальше, заметив, что она настроена поболтать.

Я сажусь у воды на штормовку. Вскоре одна собачка приходит меня понюхать, потом появляется вторая, а за ней и сама хозяйка. Она садится рядом и некоторое время молчит. Бикини волнует еще больше, чем нагота, но, стоит мне услышать ее голос, волнение тут же проходит. Этот голос привык смеяться любым островам, даже самым плоским.

Кожа у нее упругая и гладкая, хотя ей явно за сорок. Судя по фигуре, она могла быть когда-то манекенщицей, но в последние годы позволила себе немного прибавить в весе. Несколько лет назад я, безусловно, считал бы ее красивой. Теперь я воспринимаю ее красоту как атавизм.

— Вы любите собак?

— Да, если только они не больше ваших.

— Правда, приятно, что опять тепло?

— Как зовут ваших собачек?

— Том и Тина. Тина, увы, глохнет, но ведь к животным так привязываешься.

— Понимаю, еще бы.

— Я прожила здесь все лето. До чего же быстро летит время!

— Да, просто невероятно.

— Мы живем в светлом доме, возле маяка. Она называется «Диана». Вы, наверное, обратили внимание. У нас под автомобильным навесом стоит байдарка.

Собаки плещутся в воде и, энергично отряхиваясь, бросаются к нам.

— Вообще-то я вас знаю. Я однажды видела вас на банкете в «Амбассадоре». Мы с мужем тоже были на этом банкете.

— Так вы замужем?

Она долго смеется.

— А вы как думали? Неужели вы думали, что я не замужем?

Ах, эти разговорчики! Как только мне не лень.

— Нет, разумеется, не думал, — говорю я.

Она сыплет песок себе на ноги — ногти покрыты серебряным лаком — и спрашивает, не пора

ли нам искупаться. Я киваю. Мы плаваем минут пятнадцать, она голышом, я в трусах, а вокруг твоят собаки.

Мы вытираемся ее большим полотенцем. Она сильно трет мне спину и смотрит на меня таким взглядом, будто мы уже изучили друг друга вдоль и поперек. Я тоже растираю ее, не жалея сил. Она отрывисто и ворчливо командует:

— А ну, как следует.

Или:

— Не здесь, а там, под правой лопаткой.

Я даю ей самой вытереть ноги, и она бросает на меня недовольный взгляд. Потом иду вместе с ней и собаками к шоссе. Мы расстаемся у киоска, она говорит, что ее имя Рут и я могу навестить ее как-нибудь во второй половине дня, если мне станет скучно. Но обязательно во второй половине дня.

— После полудня время идет так медленно, если нельзя валяться на пляже. На прошлой неделе вдруг начались дожди. Я стараюсь ухватить как можно больше солнца. С октября мне на работу. Я работаю просто для развлечения, секретаршей. Чтобы встречаться с людьми. Приходите как-нибудь во второй половине дня. Я с удовольствием предложу вам что-нибудь выпить, мы послушаем пластинки. Уж поверьте, у меня не только Дин Мартин. Ну, до встречи.

Встречи не будет. Я постараюсь избежать Рут. Почему? Боюсь снова обнаружить, что мне скучны мимолетные знакомства? Боюсь снова пережить хаос удовольствия и неизменные за ним угрызения совести? Или просто боюсь, потому что боюсь?

Наконец, может быть, мне уже не хватает психологической глубины, чтобы подобные отношения развивались красиво. Нужно держаться подальше от всех.

Однажды я застаю на крыльце Боссе. Поздоровавшись, вижу за домом его машину.

— Я прихватил с собой кое-какие вещи, чтобы пожить тут недели две. Здесь мы в последний раз были вместе. Мы с Лили.

Боссе плачет, и я пробую утешить его. Он сидит, зарывшись лицом в ладони, и плечи его содрогаются от рыданий. Но я ничего не могу поделать. Потом мы пьем кофе. Боссе молчит, изредка бросает на меня гневный взгляд, и я не жду от него ничего хорошего.

Сажусь на складной стул среди сосен и пытаюсь читать. Он в доме распаковывает вещи. Выдвигает ящики, открывает дверцы шкафов.

Мы решаем поужинать в кафетерии. Боссе надевает галстук и пиджак. Я обращаю внимание, что на нем новые ботинки. Коричневые мокасины с широким языком.

Мы заказываем рубленый бифштекс, клубничное желе и две кружки пива. Не глядя на меня, он говорит:

— Почему ты не спрашиваешь о последних днях Лили?

— Я ждал, чтобы ты сам начал.

— На самом деле тебе ведь ни капельки не хочется слушать. Скажи сразу, что тебе неинтересно.

— Я охотно тебя послушаю.

— Мы действительно любили друг друга, — говорит он, — пусть тебе все равно, но это правда. Ох, я совсем не могу есть. В горло не лезет.

— Все же разумно будет поесть немного, а?

Боссе качает головой.

— Никогда не думал, что буду по кому-нибудь так тосковать.

В кафетерии включен телевизор. В программе новостей передают последние сообщения об ограблении банка. Грабитель трое суток держал заложниками двух банковских служащих, но теперь сдался, и несколько полицейских уводят его в наручниках. Слышны выкрики журналистов, протискивающихся к полицейской машине.

— Пристрелить его надо, эту сволочь, — кричит молодой человек за соседним столиком. Его девушка шикает на него, но он снова кричит: — Стрелять надо такую сволочь.

Остальные посетители в кафетерии поддерживают его, а официантка за стойкой говорит, обращаясь ко всем:

— Если бы такой хмырь забрел сюда, мы бы с Кайей кое-что у него отрезали. Сами знаете что.

Я искоса смотрю на Кайю, вторую официантку, вытирающую стаканы. Тихая блондинка, я часто встречал ее на пляже. Коротко стриженная и без косметики. Сейчас глаза ее горят, на щеках красные пятна.



— Какая ненависть, — шепчу я Боссе. — Бездонная ненависть.

Он смотрит на меня прищуренными злыми глазками.

— Так и должно быть. Настоящая ненависть, а если ты сам этого не понимаешь, плохо твое дело.

— О чем ты?

— А, брось.

Мы молча выпиваем по чашке жидкого кофе. Я говорю, что варю кофе лучше. Боссе пожимает плечами и презрительно усмехается. Я плачу за свой ужин и ухожу.

Дома я пью холодный грейпфрутовый тоник и жду, когда вернется Боссе и испортит мне остаток вечера. Я жду почти с нетерпением и готовлюсь встретить его. Попробую быть с ним поласковее и не перечить ни в чем. С ним надо быть начеку, в этом я уверен. Хотя этот Боссе, или Берге Ольсен, не имеет ко мне никакого отношения, сейчас никто не может задеть меня больнее. Я решаю лечь спать на самой плохой кровати.

Он является к полуночи, не вполне трезвый. Пинком открывает дверь.

— Эй, полегче! — говорю я. До меня не сразу доходит, что он выпил.

— Нечего делать мне замечания. Меня голыми руками не возьмешь. Ты здесь гость, и ни фига больше.

— Не надо грубить, Боссе.

Боссе говорит, что я вел себя с Лили как дерьмо. С самого первого дня. Думал только о себе и никогда не испытывал к ней настоящих добрых чувств. Мне было наплевать, что она за человек. Моя неверность — самый малый грех по отношению к ней. Для нее это только облегчение. Я был никудышным любовником. Думал всегда только о себе... Лили же выбрала меня вовсе не за внешность. Например, ей никогда не нравились мои губы. Слишком пухлые, на ее вкус. Иногда она просто не выносила моих прикосновений.

Я смотрю на Боссе, который в ярости нападает на меня и на весь тот круг, попасть куда у него уже нет надежды. Лили где-то выудила его, придела, чтобы он походил на воспитанного человека, которого не стыдно привезти в город, а когда им стало скучно, появились многочисленные друзья, на которых они смотрели снисходительно, сверху вниз. Но Лили умерла, и Берге Ольсен оказался у разбитого корыта. Жалкий циркач, который случайно попал в первую классную труппу и больше не может выделывать свои дешевые номера, потому что исчез покровитель. Таким я его вижу. Я вижу его фиаско и его врожденную бездарность. Он понимает это. Без предупреждения он кидается на меня и сильно бьет в челюсть; я падаю навзничь и долго лежу. Когда я поднимаюсь на ноги, гнев его уже остыл, но он все еще в возбуждении прохаживается по комнате.

— Думаешь, ты что-то из себя представляешь? Знаешь, кто ты такой? Ты просто вшивый, мелкий, беспомощный адвокатишка. Я все про тебя знаю. Ты пытался вернуться в прежнюю контору, но тебя не взяли, потому что тебе грош цена. С тобой кончено. Ты никому не нужен.

— Слушай, Боссе, успокойся!

— Пошел к черту и не смей звать меня Боссе. Так меня зовут только друзья.

— Прикажешь называть тебя Ольсеном?

— Да вообще никак не называй. Заткнись. Знаю я таких типов, как ты. Задрал нос и пошел по трупам. Забирай-ка свои дерьмовые манатки и катись отсюда, пока цел. Скатертью дорога.

— Какое у тебя, собственно, право распоряжаться этим домом?

— Право? Кто бы говорил! С правами у меня все в порядке. Я получил дом от Лили. Незадолго до смерти она оформила купчую на меня.

— И какова же стоимость покупки? Покажи купчую.

— Не твое дело. Выметайся. Немедленно. Сию же секунду.

— Я бы мог подать на тебя жалобу в полицию за увечья.

— А я мог бы подать на тебя жалобу за присвоение имущества покойных до описи, так что не спеши со своей жалобой.

— А, тот маленький грабеж — можешь использовать его, если хочешь. Моя совесть чиста, уверяю тебя.

— Ты всегда за себя постоишь. О Лили ты говорить не можешь, о своих прегрешениях перед ней тоже, ну а честь адвоката — за нее ты горой.

— Не мели ерунду.

Боссе успокаивается, садится и закуривает сигарету. Он позволяет мне остаться до утра. Рано

утром я должен уехать.

— Это мой тебе приказ. Можешь спать в каморке возле кухни.

— Нет уж. Как-нибудь найду место переночевать. Утром приду за своими пожитками.

Он провожает меня до дороги.

— Прости, что я погорячился, но ты мне противен. Ты так много испортил.

Мне хочется сказать:

— Послушай, Лили однажды говорила мне, что ты, Боссе, считаешь, будто я боюсь внезапно умереть и потому изменил свою жизнь и попытался вырваться из всей этой безумной гонки. Там было что-то про перстень Поликрата, про страх наказания за высокомерие и так далее. Но все это сказал не ты, Боссе. В твоей тупой голове не уместится так много мыслей и так много эрудиции. Это были мысли и предположения самой Лили, но она из скромности приписала все эти мудрые суждения тебе. Ты, Боссе, человек ограниченный. Мы с Лили используем тебя как медиума. Мы общаемся через тебя, а ты этого даже не замечаешь. Она была здесь, когда ты обливал меня помоями, и смеялась над тобой. Теперь она снова покинула нас — и это самое лучшее и для меня, и для тебя. Скоро мы ее совсем забудем.

Ничего этого я ему не говорю, а он все еще угрожающе смотрит на меня, будто вопреки ожиданиям угадывает мои мысли. Я ничего не говорю, но пытаюсь ему улыбнуться. У меня болит челюсть.

Я иду в кафетерий, который еще открыт. Теперь за стойкой Кайя, тихая блондинка. Она наливает мне двойную порцию водки, и я залпом выпиваю. Потом беру пиво и усаживаюсь на стул у самой стойки.

— Что интересного было на экране? — спрашиваю я.

— Про какую-то реку в Африке. Я выключила.

— А последние известия? Что-нибудь еще про грабителя?

— Этот жлоб, с которым вы тут сидели, напился до чертиков. Такой наглец. Неужели ваш друг?

— Вот еще, но я рад, что вы спросили, видно, сами сомневались.

— Знаю я таких типов. Хозяева мира. Во время последних известий он орал как ненормальный, когда кого-то застрелили на улице в Чили или где-то там... Как ненормальный.

— В данном случае я с ним согласен. И рад, что проку нет от нашего согласия.

Я выпиваю еще кружку пива и расплачиваюсь перед самым закрытием.

Час за часом я гуляю по пляжу и молодому лесу. Присаживаюсь на камень и беззвучно плачу, потому что все чертовски безнадежно. Как будто кровь во мне стынет. Первую половину ночи я мерзну и стучу зубами, но, когда на горизонте начинает брезжить рассвет, ко мне возвращается мужество, я бегаю, чтобы согреться, и обдумываю, что мне делать дальше. Я могу отправиться куда угодно. Везде найдется место тому, кто умеет позаботиться о себе. У человека, который не беспокоится о завтрашнем дне, всегда есть надежда.

Я стою на молу. Здесь причаливают только прогулочные яхты. Из люка высовывается высокий широкоплечий мужчина и спрашивает, не случилось ли чего.

— Не могу уснуть, — киваю я.

— Дела плохо идут?

Я снова киваю.

— Спускайтесь сюда и пропустите маленькую, — с усмешкой говорит он. — Это согревает. Мне тоже не спится. Знаю я, как дела не дают уснуть.

— Мир не без добрых людей, — говорю я, сидя в каюте напротив нового знакомого и прихлебывая кофе с водкой, — казалось, все вымерли, а тут вы и вынырнули прямо из моря.

— Пока что мое дело идет бойко, — говорит он. — Последние несколько лет я удачно помещал свои капиталы, но на прошлой неделе от меня сбежала жена. Не одно, так другое. Удивительно, правда?

Он доволен, что я киваю. Мы выпиваем еще по маленькой, у меня согреваются ноги, и я постепенно прихожу в себя.

— Понимаешь, у нас был сын, он умер, жена чертовски переживала и начала прикладываться к бутылке, и тогда я решил купить эту лодку, но оказалось, что жена не переносит морских поездок. Ее тошнило на каждом повороте. Ничего не вышло. Просто ничего. И она сбежала с моим другом. Так-то вот.

— Надо найти новую жену, если это тебя спасет.

- Я уже думал об этом.

Он долго рассказывает о своей фирме, и я слушаю с профессиональным долготерпением. Вспоминаю, что когда-то вел против него процесс. Моим клиентом была бумажная фирма. Я слушаю и слушаю, а проснувшись, обнаруживаю, что я один, сижу, прислонившись к стене каюты, и в запутанном сне слышал плеск воды. Мои ноги покрыты одеялом. На столике между койками оставлена записка: «Мне пришлось смотаться. В термосе горячий кофе. Привет. Ольссон».

Я выползаю на палубу и вижу, что давно наступил день. Мои часы остановились. Но это неважно. Поднявшись на причал, я читаю название Ольссоновой лодки: «Лорд Нельсон».

Я снова спускаюсь в каюту посмотреть, не забыл ли я чего. Под книгой, из тех, что рассылают книжные клубы, лежит три бумажки по сто крон. Я быстро кладу книгу на место. Смотрюсь в зеркало на стене. Впервые замечаю, что волосы у меня совсем седые. Кожа сделалась гладкая, как в детстве. Я смотрю себе в глаза и теряюсь. На секунду я вижу дикий взгляд моего отца. Я ошибся. Там лежат четыре сотни. Под строчкой «Привет. Ольссон» пишу: «Спасибо за приятную компанию».

Я иду по пляжу, готовясь к новым превратностям судьбы.

Двое, что лежат и хохочут в дюнах, не видят меня. Пригнувшись, я бегу, как во время солдатских учений. Но успеваю разглядеть, что Боссе одной рукой обнимает Рут, а рядом спокойно лежат ее собаки. Том и Тина меня не замечают. Я бегу почти весь путь до дачи. Боссе в плавках (моих), Рут — голышом. Я купил дачу в 1956 году. Я бреюсь, надеваю чистое белье и рубашку, складываю свои пожитки в чемодан и вместительную дорожную сумку.

В последний раз стою в дверях веранды. Неожиданно, точно вспышка, воспоминание. Лили и Нина перебирают первую в сезоне малину. Две хорошенькие девушки, одна светлая, другая темная, одна молчит, другая с жаром что-то рассказывает. Обе в ужасе вскрикивают, когда вдруг появляется человек и спрашивает, не нужно ли поточить ножи. Нина поспешно натягивает на себя купальный халат. Слово «нож» пугает девушек, и они не сразу отвечают: нет, сегодня ножей точить не нужно. Человек в потертой куртке и с дешевой трубкой во рту собирается уходить, но тут Лили приходит в голову угостить его малиной. Он стоит в нерешительности, робко улыбается и качает головой. Отступает на шаг назад. Теперь девушек разбирает любопытство, и Нина говорит: одну ягодку? Точильщик не смеет смотреть на их загорелые тела и поворачивается. Им так любопытно увидеть его реакцию на их непристойное поведение, что они вскакивают и кричат ему вслед, приглашая вместо малины выпить чашку кофе, но он спасается бегством. И вскоре они забывают о нем, снова становятся красивыми, одна молчит, другая с жаром рассказывает, и обе они мои в этот день. Июнь 1956 года, первое лето на даче... Я беру чемодан, дорожную сумку и иду в кафетерий позвонить.

Я звоню Кнуду и прошу помочь мне найти хотя бы временную работу. Он тут же спрашивает, потерял ли я право на адвокатскую практику или отказался от него добровольно. Я заверяю его в своей гражданской добросовестности и предлагаю навести справки в моей бывшей конторе. Мы долго обмениваемся репликами.

— Нет, — говорит он наконец, — при всем желании, к сожалению, помочь я тебе не могу.

Я звоню Хеннингу, еще одному старому другу, у которого меняется голос, когда он слышит, о чем речь. Тот же вопрос об адвокатской практике. Может быть, было бы лучше, если бы меня ее лишили. В городе, где живет Хеннинг, для меня тоже нет работы.

Я звоню Ригмор в другой конец страны. Она обещает справиться на городской бирже труда и перезвонить мне. Даю ей телефон кафетерия. В ожидании звонка успеваю выпить целый кофейник кофе. Я чувствую, что она полна благих намерений и бросилась в бой во всеоружии. Поговорив с начальником отдела на бирже труда, она пока что может предложить мне место смотрителя городского музея, который, кстати, только что расширили. Я спрашиваю: в фуражке или без? Ригмор отвечает, что в моем теперешнем положении это глубоко второстепенный вопрос. Я говорю, что крайне признателен ей за быструю помощь (слово «признателен» обычно производит хорошее впечатление), и на это она советует мне на первое время поселиться в модернизированной миссионерской гостинице. Потом наверняка удастся снять комнату в частном доме. Я еще раз благодарю за помощь и заверяю ее, что я не пью. Маленькая пауза. Видимо, Ригмор смотрит на часы. Он глубоко вздыхает, и я с любопытством жду. Наконец она прямо говорит, чтобы я не рассчитывал на общение с ней и ее мужем Мортеном, дантистом, потому что всю осень они будут страшно заняты. Я успокаиваю ее, кратко обрисовав мое отношение к людям и обществу. Кажется, это ее убеждает, и она вежливо приглашает меня скорее приезжать. Говорит: в окрестностях много птиц. Я сообщаю, что

деньги на дорогу у меня есть, и кладу трубку, еще раз поблагодарив ее за содействие.

— Кайя, на ближайшие месяцы мое будущее обеспечено. Дайте мне еще пива.

— Пожалуйста. У нас остались вчерашние булочки. Хотите?

— Нет, спасибо. Я бы попросил стакан, если не возражаете.

— Вы верны своим шикарным замашкам.

— В стакане половина удовольствия.

— Друзья, с которыми вы раньше говорили, не очень-то рвались вам помочь?

— Нет, но кто их осудит? Они же не знают, каков я теперь. Самый ненадежный человек — это старый друг, с которым не виделся десять-двенадцать лет.

— Да, я бы уж отшила каждого, кто намерен сесть мне на шею.

Открывается дверь, и входит Юстус. Он садится за столик в углу. Кайя наливает кофе из автомата, кладет на тарелку булочку и относит ему, а он молча кивает. Кайя делает рукой жест, означающий: это бесплатно.

У Юстуса в глазах тот застывший блеск, которого я ждал; он никогда не познает людей и должен по-прежнему вершить свой подвиг один, только с Богом.

Юстус, Кайя, Клаус, рядовой Эльна, тетя Хильда из Мальме, я — все мы временно пребываем в мире одиночества. Все мертвецы в моем суетливом, постоянно возвращающемся прошлом...

Я спрашиваю Кайю, не купит ли она мою пишущую машинку. Показываю ее, и машинка производит впечатление. Купить ее? Пожалуй. За сколько?

— Скажем, за триста крон, — говорю я.

— А она вам действительно больше не нужна?

— Нет, — отвечаю я, — все, что хотел, я уже написал.

— Почему вы больше не работаете? — спрашивает она.

— Потому что мне пятьдесят три. Когда человеку за пятьдесят, пора перестать распоряжаться другими.

Я выхожу на шоссе посмотреть, нет ли автобуса. Его пока не видно.

Мое положение и обстоятельства можно охарактеризовать очень кратко. Положение таково: я ничего не знаю о завтрашнем дне. Обстоятельства таковы: я человек, который не стал дедушкой и все свои пожитки может унести сам.

Но по крайней мере мне был предоставлен выбор: я предпочел умереть живым, а не оставаться за письменным столом и жить, умирая. Я возвращаюсь в кафетерий, ругая себя за избитые метафоры. У меня прекрасное настроение. Я уже не боюсь, как боялся всю жизнь, потерять крышу над головой и кусок хлеба. Самое страшное, что сейчас может со мной случиться, — это сильная простуда.

В кафетерии лишь Кайя, она говорит, что охраняет мои чемодан и сумку, как свои собственные.

— Что это за тип? Который сидел в углу.

— Этот? Кем он только не был! Книготорговцем, агентом по продаже недвижимости, художником и черт знает кем еще. Он всегда молчит. По-моему, он живет где-то на чердаке.

— На чердаке? Вы уверены?

— Ну, точно не могу сказать... Я так высоко не забираюсь.

Мы прощаемся за руку, я беру чемодан, сумку и выхожу на остановку.

Пропускаю вперед двух женщин и мальчика, хотя, когда автобус остановился, я стоял ближе всех к дверям. Я вежливо здороваюсь с шофером и беру билет до ближайшего города, название которого мне удастся припомнить.

Три других пассажира тут же прошли к своим местам и, вероятно, намерены платить при выходе, но мне пришлось заплатить сразу.

На мгновение опять становится страшно. А если я передумаю и выйду — что тогда? В ожидании отправления шофер курит, прогуливаясь возле автобуса.

Нужно заботиться о здоровье и содержать себя в чистоте. Добросовестно выполнять свою работу. Я приступаю в воскресенье. В фуражке. В частности, в мои обязанности входит рассказывать об одном из датских морских героев и говорить: он умер слишком молодым. Надо содержать в порядке зубы. Читать только про птиц и избегать высказываний, которые могут быть ложно истолкованы. Пить лишь минеральную воду и воздерживаться от научных дискуссий.

Сомневаться поздно, верить рано.

Пора в путь.

Наконец автобус трогается. Шофер смотрит в зеркальце и ловит мой взгляд. Если бы он под каким-либо предлогом вышвырнул меня из автобуса, я был бы бессилён сопротивляться, не приди кто-нибудь из пассажиров мне на помощь. Имя, род занятий, место жительства — все, что я мог бы сообщить, не стоит и той сигареты, которой я бы угостил его.

Нет, все в порядке. В нашей стране никто не голодает.

Я пытаюсь представить себе, что живу в Соединенных Штатах Америки пятьдесят лет назад, что я молодой человек, который решил поехать и посмотреть, как велика его страна.

## Потом

Несмотря на мороз, поезд плохо отапливается. Чиновник на вокзале объясняет: кризис. Разве вы не слышали?

После продажи двух десятков книг чемодан стал легче.

В музее больше не нужен дополнительный смотритель. Неожиданно введен новый план экономии. Лишняя фуражка ликвидируется.

И — в путь. На дворе февраль.

В холодном автобусе, где стекла еще с лета засижены мухами, шофер говорит:

— Сейчас многие ездят просто так, без всякой цели.

Над полями проносятся стаи скворцов.

Дешевая койка в старом, отслужившем свое клубе, построенном в милые тридцатые годы, когда люди еще любили собираться вместе.

Мартовский день, взбудораживший нервы: неожиданные прилеты птиц. Повсюду кулики, песочники и кроншнепы. Прохладно, но солнечно. Улыбки и слезы в глазах, и новое понимание всего.

Три месяца временной работы, комната на двоих с разведенным механиком, лиловый контур облаков. И никакого желания знакомиться с окрестностями города.

Ожидание на заправочной станции. Тишину бесцеремонно нарушает огромный автомобиль шведской марки. Из него выходит чета в солнечных очках: в бак заливают бензин. Женщина в белой шубе ежится от холода и что-то бурчит себе под нос. Ее спутник, отойдя от машины, оглядывается по сторонам. Но Арвид Маттсон из Кристианстада никого не узнает. Они едут дальше.

Зато скончавшуюся в больнице женщину я без труда опознаю как фру Алису Йенсен. Она попала в автомобильную катастрофу по пути со взморья.

Новые автобусы, но расписание и маршруты старые.

Однажды внезапная короткая остановка, и вот передо мной тот самый дом — белый, с темной крышей. По саду к мусорному баку медленно идет женщина, она что-то ищет в баке. Но вблизи дом оказывается не белым, а женщина совсем молоденькая, и ее не интересует дорога, и, когда автобус едет дальше, видно, что вокруг не холмы и не болотистые низины, а сотни маленьких участков с типовыми домами.

А в городе, где есть шанс получить работу на складе, меня спрашивают о последнем месте жительства и просят назвать номер удостоверения личности, и я слишком медлю с ответом...

Снова в путь... а перелетные птицы все летят и летят, и я уже не знаю, что это за птицы, но слышу, как они летят, когда ночью под открытым небом...

... и я спокойно говорю, что сам готов лететь дальше и что так и должно быть...